

Кажется, я спутал, смешал воедино какие-то события: провёл в Донецке четыре зимы, три лета, — поневоле смешаешь. Отчего помню времена года? Просто у меня день рождения летом, и три дня рождения подряд я встречал там.

Три лета сплываются в одно.

В каком-то смысле, оно и было одно.

Кому нужно, попробуйте разложить кубики заново, я соглашусь и с вашим представлением, но сам не буду пересказывать ещё раз.

Однажды я уже говорил, что правда — это как запомнилось.

Правда — как спето.

Иногда бывает так: историк всё разложит по датам, по этапам, вычленил, зафиксировал, классифицирует, мумифицирует.

Потом мимо плывёт лодка, в лодке сидят люди, поют песню; слушаешь песню и понимаешь: всё было, как в песне.

Но это — если песню сложили. И если она прижилась, если поётся.

Про донецкую герилью мы ещё не знаем, как приживётся, — у нас нет возможности забежать вперёд, чтоб оглянуться и оттуда крикнуть: “Есть! Помнят! Поют!”

Из той точки, где мы находимся сейчас, оглянись — и снова видишь: князь Игорь закусывает губу, чтоб не закричать, а Ярославна — кричит себе со стены; город Козельск держит оборону, пока не выгорит весь, до последней потной пряжи на детском виске; Марфа Посадница и слезы не проронила — взывает к людям: “Очнитесь!”; авантюрист Ванька Болотников собирает разбойничков, улыбается, глаз вот только щиплет, что-то в глаз попало, — может, выколнот его, тогда пройдёт; казак Некрасов, борода лопатой, уводит донских казачков за пределы звероватой Московии, чтоб выстроить на многие века старообрядческую общину; Емелька Пугачёв показывает сотоварищам царские знаки на теле — на самом деле обычные родимые пятна; крестьянин Герасим Курин, собрав шесть тысяч с вилами и косами,

---

\* Окончание, начало читайте в №5 за 2019 год. / Журнальный вариант. Печатается с небольшими сокращениями. Полностью читайте в отдельном издании: Издательство “АСТ”, 2019.

режет, косит и колет европейского неприятеля; барон Унгерн подозревает заговор, обдумывает казнь заговорщиков.

Даже лица можно различить за сто, за триста, за пятьсот лет.

Но кто воевал только что в Абхазии? Чуть ли не позавчера была война, а я ни одного имени не помню, лицо покажут — не узнаю! Кто, кого и с кем мирил в Таджикистане? Там такая резня была! Кто встал за свободу Приднестровья, — да и где она теперь, эта свобода, какова на вкус? А даже и Чечня: генерал “Т”, генерал “К” — они живы, мертвы? Песня осталась о них? Нет? А вроде была. Или не было? Дети в них, в этих генералов, играли, помню, во дворах. Больше не играют? Да и есть ли те дети?

Далёкое прошлое населено исполинами. Ближайшее прошлое искрошили на винегрет; выверяешь вилкой, раздумываешь: пробовать, нет? О, бровь чью-то нашёл; мочку уха. Закажите себе три порции винегрета — соберите лицо.

Дата, которую называл мне Захарченко, — с обрушением ряда высотных, жизненно важных конструкций на территории нашего несчастного неприятеля, — прошла. Ничего не случилось. Падение града Киева отменилось.

Исподволь подступило тихое, чуть тошное ощущение, что чаемого три предыдущих года подряд — не будет. Не состоится никакого наступления, нет его в Господнем распорядке на ближайший год, а, возможно, и на очередное смурное десятилетие.

Это знание томило.

Я стал чувствовать, что из меня сосут жизнь. Стал чувствовать, что я — Аральское море. Может, мёртвые присосались?

Я разлюбил алкоголь, разлюбил никотин. Закуришь сигарету и смотришь на неё: а в чём прикол? Рюмку принесут — нервически, как вздорный ребёнок, толкаешь столик коленом: жидкость качается — хоп, выплеснулся язычок на скатерть. Всё развлечение дураку.

Как и прежде, у меня никогда не было плохого настроения. Дело в том, что теперь у меня чаще всего не было никакого настроения вообще.

Местные новости уже не были способны взбодрить меня, как раньше.

В “Пушкине” обнаружили взрывчатку — в туалете. Несколько килограммов тротила. Взрыв был бы такой, что вся кухня разлетелась бы по кварталу. “Бабка, к нам на балкон заливное прилетело в тарелке. И майорский погон”.

Тротил — в любимом ресторане всей донецкой верхушки! Где личка на личке катается, личкой погоняет. Ресторан — напротив резиденции Главы!

Узнал — пожал плечами.

Стали встречаться в дальнем помещении фойе центральной донецкой гостиницы. Казак там постоянно сидел, с вечной чашкой кофе. Он их штук тридцать в день выпивал. Приносили бы сразу в трёхлитровой банке.

День этот запомнил: я и ехал не туда, а куда-то мимо, но что-то завернул, спросил у портье: “Там? — Да, — говорит, — там сидят”.

За столиком обменивались новостями Ташкент и Казак.

Тротил, оказывается, был сразу в трёх ресторанах. Это ж надо с местными в связке работать! Это ж какой размах! Это ж сколько тут диверсантов! Каждый день мимо них проезжаешь наверняка...

На меня напал стих.

— Это всё ерунда, — говорю, — а как мы Главу спасти будем?

Казак вскинулся в своей манере, поднял умную бровь: продолжай, мол.

— Все здесь, — продолжил, — как заказывали, ждут, что однажды придёт Россия. Россия придёт — и будет порядок, мир. Но Россия так и не приходит. Её ждут в одном виде, а приходит она в другом, иначе. Она приходит, как асфальтоукладчик. Она приходит, как мясорубка. Она жрёт всё и даже костями не плюётся: выдаёт чистый фарш.

— Красиво, — сказал Казак. — И тем не менее.

— Тем не менее, вот что. Однажды сюда зайдёт Москва. Ты видел, что они делают с российскими губернаторами? Они рубят им яйца и собирают в общее ведро. Потом приходит уборщица и содержимое ведра выплёскивает на задний двор собакам. Это ладно, ни о ком из них не печалось. Но есть

цель: из Донецкой народной республики сделать обычный российский регион. Мы их три года просили: дайте нам строить то, чего в России ещё нет, уже нет, и точно — не будет. Дайте, разве вам жалко? У вас есть восемьдесят восемь своих регионов. Кромсайте их на свой манер, чтоб все стояли одинакового роста и локти не торчали. Но, Бога ради, позвольте здесь вырастить своё дерево. Может, вам самим понравится, северяне.

Я увидел медленно, почти заговорщически подошедшего к нам официанта — и попросил у него рюмку водки. Исключительно себе назвал. Он ушёл.

— Нет, — продолжил я. — Они так не умеют делать. Это выпадает из их логики. Они будут делать всё ровно наоборот. Они думают и однажды придумают, как выбить всех вокруг Главы. Одного за другим. Москва выключит из розеток все ресурсы, что подпитывают Захарченко. Это не очень долгий и неоднократно опробованный в России сценарий. Исключения есть. Но они — крайне редкие, и всегда — этнически обусловленные. Это пара кавказских регионов и, может, один, может, пара, условно говоря, ордынских. Три, говорю, — четыре уже с натяжкой — региона: не больше. Включая непризнанные, как и наша, территории. Российские фейсы умело контролируют в этих анклавах их внешние контакты. И тем более не дают расти их военным амбициям. Однако независимость во внутренних делах местные там сумели отстоять. Посягающих на это северян просто вырежут: таковы правила игры. Вопрос: сможем ли мы так? Ответ: нет. Потому что мы не кавказский и не ордынский народ. Мы здесь — русские, пусть даже и с хохляцкой подкладкой. Мы не сможем зарезать русского наместника, потом, скучая, ждать, когда пришлёт нового — и, едва он явится, зарезать нового тоже. Если мы так будем делать, мы почувствуем себя сепаратистами уже не Украины, а России. Если мы начнём резать российских наместников — за что здесь тогда шла война, правда?

— Даже вслух такое говорить нельзя, — усмехнулся Казак, хотя и не очень весело. Он, кажется, ожидал какого-то разрешения этой шарады. Но разрешения не было.

— Я и не говорю. Я просто называю, какие возможны варианты. И отвечаю: вариантов нет. Глава останется один. Нас не жалко, вас не жалко, никого не жалко. Просто для меня республика — это он. Не в обиду всем присутствующим. Тот компромат, что собирают местные на местных, — это всё курам на смех. А вот то, что собирает на происходящее здесь Москва, — это важно.

Ташкент, хранивший по-хорошему ироничное и внимательное молчание, чуть встрепенулся:

— Врут же всё. Спросили — мы бы объяснили.

— А они не спросят, — говорю. — Они носят, и носят, и носят императору свои доносы, и однажды он кивнёт головой: исправляйте, хватит. И вас всех съедят. И что будет делать Глава? У него не будет своей армии, своей экономики, своей команды, своих средств, своих рычагов. Его сделают технической фигурой. Потом просто смахнут с доски.

— И когда это может начаться? — спросил Ташкент.

— Да когда... Может, уже началось. Мы тут сидим, а Москва уже к нам в гости собирается. Или ещё не собирается, но завтра получившие приказ, специально подобранные, чтоб вас сожрать, люди полезут на антресоли за чемоданом на колёсиках... Понятно одно: логика их именно такова, как я сказал.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Казак.

— Гуляя по Москве давеча и шепнули на ухо, — соврал я.

Никто мне ничего не шептал. Но не мог же я сказать, что выдумал всё это сейчас. Я долбил своё:

— Партизанские движения, самопровозглашённые республики, казачью вольницу — хоть при Петре Великом, хоть при матушке Екатерине, хоть при Ильиче, хоть при Иосифе — терпят, пока идёт война. Едва война затихает — вольнице откручивают головы. Помните, как было в Приднестровье? Совсем недавно, и двадцати лет не прошло. Там местная повстанческая освободительная армия пришла однажды в казармы, а казармы заперты. “Всё, ребята,

война окончилась! — А наше оружие?” — кричат повстанцы. Им в ответ: “Оружейки опечатали и вывезли в надлежащем направлении”. И всё.

Мне бережно поставили на стол рюмку водки. Я, не глядя на неё, опрокинул — как выкинул — в глотку, и тут же попросил другую. Всё равно официанту делать нечего.

— Ну, ты и новости принёс, — задумчиво посмеялся Ташкент, достал излюбленную свою зубочистку и стал её покусывать. Ему шло. Большая хитрая башка, ироничные глаза, зубочистка болтается в африканистых губах.

Казак взял телефон и вышел, сказав: “Я на минутку”.

Когда вернулся, я в очередной раз докручивал свою донецкую импровизацию:

— ...два варианта, оба плохие. Первый: сделать внутреннюю экономическую перезагрузку. Чтоб когда к вам зашли и сказали: отдайте вот это, освободите вон тот пост и сдайте те вот дела, вы не упирались, а сдавали, что сказано, только там на поверку оказывались бы пустые чемоданы или чемоданы с ненужным вам барахлом. Понятно, что понаедут люди умные, поумнее нас, но у вас будет возможность поиграть, выбить себе козыри, поторговаться. Дойти до императора, наконец.

— А второй вариант? — спросил Казак.

— Военное обострение.

\* \* \*

Саша Казак, когда отходил, звонил Главе; я сразу, ещё за столом, догадался.

Мне принесли третью, Казак — под руку — говорит: “Поехали, вызывает”. Ташкент к тому времени уже отбыл по своим делам. Я махнул стоя, чуть не вырвало, и пошёл к ждущему на улице коню: Граф впереди, Тайсон позади; Злой тоже был с нами — ему было скучно на располаге, и он теперь работал все смены подряд, без выходных.

Через десять минут мы с Главой сидели на “Алтае”, пили какую-то малоградусную китайскую водку; я не хотел уже никакой водки категорически, еле вливал в себя, Батя тоже, не в своей манере, наливал себе по полрюмки, а то и меньше. Выгорели, что ли?

Какими-то другими словами я пересказал уже сказанное — на самом деле, пересылал ту же крупу из ладони в ладонь; источники не назвал, на вопрос о них многозначительно дёрнул щекой, — мол, не важно.

Глава помолчал, пожевал и спросил:

— Ты можешь поговорить с...? — здесь он, по сюжету, должен был поднять глаза наверх, но это был бы не Захарченко тогда. Он не поднимал глаза, а смотрел на меня.

Он верил, что я могу поговорить. Как тогда, в самом начале: “Заступись за нас!”

Конечно, я не мог: кто я такой?..

Но и ответить так было нельзя, надо было придумать другой ответ.

— О чём? — спросил я.

Минут десять мы разминали тему — о чём я могу поговорить; мне нужны были максимум три пункта, три коротких пункта, больше меня слушать не стали бы, даже если б позвали.

Мы перебрали дюжину разных пунктов — Казак умело подсказывал, все подсказки по делу: он знал дела в республике в сто (не преувеличиваю) раз лучше, чем я (я был в республике никто, — уже можно признаться? — возделывая свою крохотную деляночку); но с каждым пунктом ситуация не прояснялась, а усложнялась — это как телега, на которой решили переезжать, но забрать можно только самое важное, — и понеслось: а вот ковёр, а бабушкины серёжки, а собачью подстилку, а сервиз, а валенки?.. а?.. а?.. а?..

— Стоп, — сказал Захарченко, сделав мимическое движение лицом — будто прокололо в груди. — Знаешь, что, Захар? Попроси его о встрече: чтоб он меня принял. Только так может что-то получиться.

Задумчивый, я вышел на улицу — во внутренний дворик “Алтая”; оказывается, и Ташкент подъехал — Глава его вызвал; ага, я знаю, что они сейчас будут обсуждать.

Машин было, как на свадьбе: и моя стояла, и Казака, и Ташкента, и несколько машин Главы.

При моём появлении личка тут же разошлась, а то, было видно, вместе что-то перетирали.

По дороге домой, в машине, заметил: бойцы еле сдерживают улыбки. Но у меня вид был озадаченный, поэтому они понемногу утихли, а я не спросил, в чём дело.

Злой потом, блистая волооками восточными глазами, поведал, как было. Личка Ташкента, кажется, затеяла разговор, как кому живётся в личной охране. Что за обеспечение, есть ли доплаты, остаётся ли время на сон; всё такое.

Спросили у Тайсона — и тот спокойно, чуть устало, своим богатым на пацанские модуляции, чуть распевным, на украинский манер, голосом поведал:

— А мы отлично живём. Я вообще, как сыр в масле.

— Да, мы видели, вы и обедаете с ним.

— Ну, это мы скромно, чтоб вас не смущать. Ты ещё не видел, как мы обедаем. Мы для этого в Ростов на неделю выезжаем. И там обедаем. Официанты в обморок падают от перегрузок.

— Можно представить. А чего у вас ещё?

— Питание, сигареты, витамины за счёт Захара; отпуск (только санаторий) — тоже за счёт Захара. Доплаты.

— Доплаты?

— Да, вот такие.

— Такие?!

— Да, а что? У вас не такие?

— Нет. Форма, оружие?

— Ну, ты сам видишь. У каждого по три ствола, УЗИ, “коротыши”, ножи, всё в пожизненное пользование. Захар всем купил. По три комплекта формы: летней, зимней, “гражданку”; тоже всё Захаром закупается. Вплоть до смокингов.

— А “гражданку” зачем?

— Как зачем? Для выезда за границу.

— А у вас гражданство какое?

— Гражданство обычное, украинское, и донецкое, само собой, но и российское Захар тоже всем сделал. Иностранные паспорта, конечно. Шенген на три года. Всё есть.

— Блин, ну так не бывает. За что такой фарт?

И тут Тайсон, не меняясь в лице:

— Да я просто сын Захара.

Вся личка — и Главы, и Ташкента, и Казака — разом вперились в него, хотя и так вроде смотрели. Тайсон был, говорю, явным монголоидом, хотя и причислял себя к украинской нации. Во мне с ним, сколько ни разглядывай, никто и никогда не нашёл бы ни одной общей черты. Тайсон даже в лице не изменился, хотя Злой закусил губу, чтоб не взорваться, а Граф отвернулся и только подрагивал могучими плечами.

— Да. Я внебрачный сын Захара, — подтвердил Тайсон спокойно. — Поэтому такое доверие. И всей личке досталось с нашего родства. Я договорился с отцом.

Все покивали головами без тени сомнения — в словах Тайсона, при такой подаче, сомневаться было невозможно.

— Тогда ясно, — сказали. — Тогда чего хвалиться, — добавили, подумав. — Сын всё-таки. Хотя всё равно приятно. Завтраки. Обеды. Шенген. Вот бы хоть раз за границу! (Тайсон никогда не был в России. Даже в Киве не был. Он всю свою яркую жизнь провёл на окраине Луганска, а также в луганской тюрьме).

Тут как раз я вышел. Я ещё думаю: чего они на меня смотрят так?

Но было не до того.

...Подъехали к нашему съёмному домику, у самых ворот — снова личка Главы, но уже другая. Собачка с ними, овчарка. Сапёры со своими многочисленными сапёрными приспособлениями.

Снимают закладку. Соседский мужик то ли свой мусор выносил, то ли со всей улицы мешки собирал — обнаружил, в общем, нечто подозрительное.

Я должен был взорваться, вместе с неизвестно где нажитым ордынским сыном и двумя другими сиротами заодно, но — спасибо соседу.

Хотел его найти на следующее утро, сказать спасибо, но некогда было — отмахнулся сам от себя: в другой раз.

До сих пор не знаю, как его зовут.

\* \* \*

Вообще закладки на нашей улице, по дороге к ближайшему мосту, за мостом снимали не раз (я сначала считал, потом — забил). Но все они были как бы “общие” и предназначались, во-первых, Захарченко (мы же, напомним, соседствовали), а только во-вторых — мне. А эта — личная была, подарочная, задуманная исключительно для меня.

Спать легли как ни в чём не бывало: ну, а чего, молитву хором читать? Поздравил бойцов с очередным днём рождения, и всё.

Утром проснулся, потянулся; при виде объявившихся из-под одеяла ног сразу вспомнил разнообразные вчерашние события. Думаю: хорошо ведь — ноги, и такие красивые, какие же замечательно красивые у меня ноги, а могло бы не быть их; и это самое малое, чего недосчитался бы...

В общем, решил: вернусь на передок, там залипну. На Сосновке, пожалуй, безопасней.

Помню случай с одним ополченским полевым командиром — позывной ещё такой забавный у него был: Генацвале.

Ещё в ту зиму, когда наш молодой батальон получал первые свои нехитрые задачи, утром я заехал в авторемонтную мастерскую. Работники смотрели мою машину, хозяин заполнял мой талон, сидя за столом напротив меня, в другом конце комнаты.

Зашёл военный — тоже, как и я, без знаков различия. Вид у него был, как у сильного человека, только что получившего жуткое известие: замес расхристанного отчаяния, боли, но тут же в глазах и походке — явное осознание случившейся беды, которую не поправить, придётся принять и жить.

Военный подошёл к хозяину автомастерской, они, видимо, были знакомы. Хозяин встал, и они шёпотом, совершенно не слышным мне, обменялись несколькими фразами.

Военный обернулся ко мне. Я его не знал, и он меня тоже. Но он обратился на “ты”, сказав: “Знаешь?” Нет никакой возможности объяснить, откуда я сразу понял, что случилось. И я ответил: “Знаю...” Убили этого чудесного парня, любимца женщин, любителя “травки”, прирождённого воина, танкиста, несшего в себе, помимо русской, ещё и какую-то кавказскую кровь, об истоках которой, впрочем, он забыл напрочь. Кажется, что, разглядывая старинные грузинские литографии, однажды неизбежно найдёшь его лицо: князя, победителя, святого, мученика.

...И эти ещё его невыносимо тоскливые, всегда грустящие глаза, как будто из выхлопной трубы идёт дым, и он щурится от накипающей слезы.

Он только что, неделю назад, разгрёбал очередное обострение, получил очередную — восемнадцатую! — контузию, а с передка его вывозил Батя — сам, на своей машине.

Если б остался на передке — в тот раз выжил бы. Но предпочёл жить на располагае. Квартиры снимать тоже не хотел: уже была информация, что его заказали, и он догадывался, что в городской зоне никакая охрана его не спасёт. Можно было б снять отдельный дом — его проще охранять, — но даже у самых знаменитых донецких полевых командиров, вопреки слухам об их доходах, таких денег никогда не водилось. В располагае были все свои.

Ещё туда приходила, как к себе домой, его очередная любимая — дичайшей красоты баба. В тот день, когда его убили, — она была.

В новостях сказали, что очередной в бою не побеждённый командир был убит ночным диверсионным выстрелом из реактивного огнемёта в окно рас­по­ла­ги, — соврали. Взрывчатка была заложена в комнатке, прямо за шта­бом, где он отдыхал, спал. Заложила взрывчатку эта баба. Она в ту же ночь пропала. Всё у неё было готово, чтоб пропасть. Карета ждала, опытный ку­чер в кашпо­не на самое лицо, с кнутом наготове.

Дальше — типический рас­клад, национальный (и обижаться тут нече­го): русский — в ушанке и вдрабадан, американец — тупой наглый лоб, немец — аккуратист и солдафон, эскимос — эскимос; а хохол — это неумолимое желание надурить кого-нибудь: соседа, брата, русского, турка, поляка, финансового партнёра, сестру, отца родного, себя самого, наконец.

Баба была завербованной, отправляли её именно с этим заданием: убить одного командира с грустными глазами — убила. Обещали сто тысяч зелени. Когда убила, зелени заказчикам сразу стало жалко. Зачем бабе такое количество зелени? Она и без того красивая... Баба явилась в Киев, по дороге уже расписала себе, что и куда потратит, — ей дают двадцать пять, сетуют: остальное потом. “Как потом? Потом уже наступило! — Так, не задавай лишних вопросов; кстати, за тобой уже гонятся эти орки — они тебя вычислили, у них есть твоя фотография (да, вычислили, и фотография была; Батя удивлялся с некоторой даже завистью её красоте), — поэтому, милая, не подвергай свою жизнь угрозе, мы о тебе волнуемся, вылетай немедленно в Стамбул — мы уже билеты тебе купили. Машина внизу. Тебя доставят. На контроле вопросов не будет. — А что, ко мне могут быть вопросы?! После того, что я сделала?”

Ей не ответили. Дали понять многозначительным молчанием.

За семьдесят пять штук всё что угодно можно дать понять.

И уехала с четвертым. Семьдесят пять допилили разработчики операции. Баню уже достраивали, наверное... Как раз не хватало.

А вы говорите. Страна с такими спецслужбами не пропадёт. Им Европа шлёт деньги — вагон денег, другой вагон; потом приезжают, смотрят: а где деньги? Им в ответ: “...деньги?” Как эхо.

Но это Европа, она всегда будет должна Украине за то, что тысячу лет не знала о такой европейской стране, а баба? Она же работала.

Я б спросил: “Товарищ генерал-майор, как же так? — Риск — часть нашей профессии. — Точно; глупости спрашиваю. Давайте напрямую: мы вам ещё семьдесят пять, а вы нам — её адрес. — Что вы несёте...” (Обрыв связи, кинул трубку.) Через минуту с другого телефона, другой голос, но говорит неизбежное: “Вам перезвонят, назовут счёт”.

Иногда я думаю о ней. О её морально-волевых. О каких-то деталях её службы, её будущего. Рассматриваю другие варианты её судьбы.

А если б оказалась беременна? Пока бегала, просчитывала, пронесила в расположение взрывчатку, искала трусы на полу, красила губы, разглядывала себя в зеркалке, целовала его на прощанье в щёку, мчалась в карете в Киев, летела в Стамбул, обу­страивалась на месте, — в общем, не заметила, что уже четвёртый месяц...

Врач, басурман, говорит: “Мы не будем братья, езжайте обратно — откуда вы, из Донецка? — Нет, я из Киева. — Неважно, езжайте, откуда приехали, там сделают операцию, мы не рискнём, хотя за такую-то сумму (всё, что осталось у неё!) и под расписку о том, что ваши родственники не будут иметь претензий...”

Родила, короче. Растёт ребёнок.

Однажды: “Мама, а где папа? — Папа нас оставил. — Ты его любила? Расскажи что-нибудь самое интересное, самое трогательное, самое-самое...”

Вообразить такие истории сложно, если вообразишь — кажутся при­думан­ными, Дюма какой-то, а это — рядом! Я её донецкому... парню? объекту разработки? — жал руку; он был огромный, двухметровый — при том, что танкист; я думал: таких танкистов не бывает, — нет, он был; и эта тварь — она могла мне попасться на глаза...

Впрочем, нет. Если действительно такая красивая — я бы запомнил.

Привет, милая. Если ты читаешь эти строки (а ты читаешь эти строки), знай, что тебя всё равно однажды найдут. Нас всех найдут. Мы дети Господа — и как мы можем потеряться, подумай сама. Он всех нас помнит поимённо, даже если ты сменила имя. Он раздаст всем долги. Не жалея, что всего лишь четвертной. Что деньги быстро кончились. Тебе дадут ещё. Всем нам дадут ещё. Спросишь: куда так много? Ответят: “Да ладно, дочка, чего много? Бери. Открывай рот. За па-а-апу. За ма-а-аму. За того па-а-арня”.

Батя говорил про него: “Если б остался на передке — выжил бы”.

...На Сосновке нас встретил Домовой — как всегда, улыбочивый, в отличном настроении; снова показывал — на карте — владения соседей и уточнённые данные по нашему несчастному неприятелю: часто, помню, ловил себя на удивительной мысли — вот досюда наше, а вот — смешные пятьсот метров — уже не наше; там для нас всё пропитано смертью, если я туда заступлю ногой — меня разорвут на части, вгонят в землю, разверзнется твердь — и оттуда черти смотрят глазами.

А на карте всё одинаковое: зелёнькое — посадки, голубенькое — вода.

— Это озеро, — поясняет Домовой. — Оно в нейтральной зоне. С нашей стороны можно подползти. Берег простреливается, но мы там уже были, нашли местечко удобное. Короче, смотри. Они там ловят рыбу. Выезжают на лодке и ловят — офицеры. С ними прикрытие. Но это фигня. Расстояние — смотря на сколько они заплывают, — но метров двести может быть от нас до этой лодки. Мне нужно добро, чтоб их накрыть, рыболовов.

— Прекрасная идея, Домовой. Я с вами пойду. Там долго ползти? А то я не люблю.

— Да не, нормально.

— Что тебе нормально, для меня — смерть.

Мы посмеялись и договорились на пешую прогулку в условленный день.

Подъехали к домику, где располагалась кухня. Девушки при кухне: “Товарищ командир, будете завтракать? — А буду. Пацаны, будем?” Граф кивнул головой; Тайсон всегда дожидался реакции Графа — дождался и сказал: “А можно”.

Мы уселись за столик под навесом, крытый клеёнкой. Как в моём деревенском детстве: там всегда была эта клеёнка. В углу висел, для красоты, рисованный на доске портрет Ленина. Наверное, в каком-то из домиков, где заселились, бойцы нашли и принесли сюда, на всеобщее обозрение. Кубань всё время порывался в него выстрелить или выдолбить ему глаза. Он упрямо не любил вождя мирового пролетариата — это у него казачье, наследственное. Вообще, белогвардейцев в батальоне я не припомню, но и активного большевистского элемента — тоже. Не помню даже, чтоб кто-то ругался или спорил на все эти темы.

Думаю, большой раздор между непогребёнными несвятыми мощами Ильича и мучеником Николаем Романовым ещё имел значение для Кубани и для меня, но для людей лет на двадцать моложе (а таковых в бате было большинство) — уже нет. Для них они оба умерли.

Ленина, впрочем, всё-таки могли повесить на кухне, а Николая — ну, едва ли. Ленин нёс раздражающее нашего несчастного неприятеля начало — какой-то части бойцов он точно казался уместным, а другим — не мешал.

Под суровым прищуром Ильича мы отведали сначала щец, потом макарон с тушёной, следом чаю; даже пирог какой-то был: видимо, вчера отмечали чью-то днюху, и осталось.

Такой, из трёх блюд поздний завтрак — почти уже обед, да на летнем свежем воздухе, на ярком донецком солнышке — неизбежно напоминал советские картины про запальчивых улыбочивых комбайнёров, усаживающихся за спонтанным столиком; красный, железный, горячий бок комбайна виден в углу картины; доставила обед полная сил, красивая колхозница в сарафане.

У комбайнёров — огромные, рабочие, со вьёвшейся злаковой пылью, красивые руки.

У бойцов, постоянно торчавших на передовой, руки были схожие — только почерней.



Пока ели — подъехал Араб; я знал, зачем. У нас с ним было одно запланированное дело. Он был отлично собран. Даже приезжая к передку на час, Араб собирал походный рюкзак на неделю; был научен горьким опытом штурма Дебальцево: тогда его роту сняли на три часа, а вернулись они назад через две недели, ошалевшие не столько от обстрелов и нервотрёпки, сколько от дичайшего, многодневного холода и голода.

Араб перекинул рюкзак из своей машины в мою.

— Выдвигаемся? — спросил.

— Ага.

Подкатили поближе к передку, оставив “круизёр” метров за триста до окопов, за деревьями, а дальше уже пешком; другой, не той, что в первый раз, тропкой — не через поле наискосок, а куда безопасней, вдоль посадки; получалось подольше, но и поспокойней; только на подходе к самым окопам, метров в двадцать длиной, была открытая зона — её, согнувшись, перебегали.

Иногда с той стороны запускали пулемётную очередь, но никого это всё равно не могло заставить ползать. Понятно было, что хождения продолжатся до разу, но мало ли кому что понятно...

Мы спрыгнули в окопы, и Араб сразу, натянув мрачную, обычную в его случае, личину, — чтоб не лезли с дурацкими вопросами, на которые наштабу приходится отвечать ежеминутно, — пошёл по всей линии, придирчиво выглядывая что-то ему и совсем немного — мне понятное и необходимое, и на “Здравия желаю!” либо не отвечая совсем, либо отвечая носовым: “Угу”.

— Что-то случилось? — спросил меня кто-то из бойцов. Двум командирам сразу на передке просто так делать было нечего — даже ротный, и тот обычно сидел в деревне со взводом смены: на позициях хватало другого взвода, его командира и двух командиров отделений.

В отдельном месте, за позициями, стояла “миномётка” — миномётный взвод, с нарисованными специально для них задачами. Я как раз на днях прикупил им по дешёвке 120-й миномёт — грозное оружие, запрещённое, к тому же, отвратительно соблюдаемыми международными соглашениями.

— Да не, всё нормально, — ответил я, улыбаясь; не то чтоб мне не поверили, но, скорей, хотели, чтоб я обманул: в бате привыкли, что я крышую всякие дурные забавы, и каждое третье моё внезапное появление на передке — если я не живу тут неделю — нет-нет, да и оборачивается чем-то шумным и задорным.

Я прошёлся взад-назад до самого конца линии; странным образом не встретил Араба — куда ж он подевался? — и вернулся обратно к тому то ли аппендику, то ли хвосту, нарытому метра в полтора на подходе к окопам.

Наверху, свесив ноги в окоп, сидел взводный и курил. Каска лежала рядом. Он, видимо, хотел пойти рядом с Арабом, докладывая по пути, но тот его уснул: сам посмотрю. Теперь взводный демонстрировал равнодушие: мол, всё у меня в порядке, я даже не волнуюсь. Я спросил у него, чего не хватает на позициях, он ответил, что критических проблем нет. Я тоже закурил. Припекало. Было хорошо. Свистнуло над головами. Выстрел был с той стороны, одиночный.

Я посмотрел на взводного.

— Тут низина, — пояснил он, — сколько ни стреляй, всё равно проходит на метр-полтора над головой.

— А ты подпрыгни, — говорю. — Может, поймаешь.

Все, включая взводного, в меру посмеялись. Впрочем, кажется, он меня по каким-то своим причинам недолюбливал. (Такое бывает: идёшь, допустим, по коридору располаг, — кто-то сидит в коридоре, копошится в мобильном; “Здравия желаю!” — на ходу скажешь, — а то иные обижаются: командир идёт, ни с кем не здороваются, людей за людей не считает; но в этот раз сидящий боец или офицер, не поднимая головы, кивнёт, — в ответ: “Встать! — крикнешь. — Ответить по форме! Позывной?” — и уже вниз по лестнице, потому что некогда, спускаешься, пока он вскочил и что-то там отвечает... Потом забудешь про это, а у человека на всю жизнь обида; три жизни пройдёт, а он тебя не простил. Жизнь такая.)

Ещё свистнуло.

Близость смерти делает многие вещи предсказуемыми и понятными, отучает пугаться по мелочам; а то, что сюда может упасть миномётный снаряд или ВОГ, — это уж как Бог пошлёт.

Взводный забычковал сигарету и прыгнул в окоп, левой рукой, не глядя, подхватив каску и ловко надев уже на ходу.

Через несколько минут затеялась перестрелка: отсюда, с “Утёса”, будто ленись, дали несколько пулемётных очередей, те, словно нехотя, ответили.

Минуты три поглазев на работу, я прошёл в блиндаж и слушал звуки перестрелки, попивая из кружки тут же заготовленный дежурной медсестрой чайёк с ей же предложенным леденцом вирикуску и привычно раздумывая: вот у нас двести метров передка — всего-то, сидим на своей грядке, копошимся тут, в то время как вся линия передовой — за сто с лишним километров, и почти везде окопались какие-то мужики и запускают друг в друга разной величины железные штуки, летящие туда-сюда на огромной скорости.

Если долго, как в детстве, думать о каких-то совершенно банальных, обыденных, ежедневных вещах, то однажды представление о них становится одновременно и прозрачным, и каким-то словно удушливым, и возникает ощущение, что вот-вот ты поймёшь что-то ужасно важное.

Перестрелка всё никак не разгоралась на горячие обороты, будто не хватало задора.

В прошлый раз наш борзый неприятель подполз ночью почти к самым окопам, накидал гранат; не добрасывали, правда, но всё равно было очень обидно: как будто не гранаты летели, а помойной водой плеснули в самые ноги.

И пропали, как и не было.

Показали, что они тут почти хозяева.

Мы б к ним не полезли — здесь тоже было фигово с картой минных полей, поэтому любые затеи в лоб окончились бы для нас дурно.

Но на то я и купил 120-й, чтоб иметь возможность ответить: раз вы так — мы вот так.

Слева и справа у нас были корпусные соседи, с разных бригад, отношения с ними мы толком не отладили, на второй линии обороны тоже кто-то стоял, более того, помимо нашей разведки, тут искала что-то ещё и полковая — с нашего полка, но с другого бата, — так что, если б мы засадили со 120-го, долго пришлось бы разбираться, кто именно это сделал. О том, что у нас появился такой миномёт, знали Томич, Араб, я и миномётчики, но и то не все, а только те, кому с ним, с него пришлось бы работать. С миномётчиками провели разъяснительную беседу — те обещали молчать намертво.

Я вдруг вспомнил, что не вырубил свой мобильный, — старею, дураю, а по нему можно навести прилёт прямо в самое темечко, — и полез за ним в карман.

Российский оператор, неделями молчавший, спорадически ловил в самых неожиданных местах — чаще всего на высоких точках, вроде терриконов, и особенно хорошо на передке, где получал сигнал с украинских вышек; у меня насыпалось сразу с полета летавших за мной, как комариная стая, не находящихся до сих пор себе места СМСок, и я, понадеявшись на авось, перебирал их: пропущенные звонки, мать с вариациями на тему “когда домой, сынок, дети растут без тебя”, просьбы журналистов прокомментировать события недельной, двухнедельной давности, кольнувшее в самое сердце “папочка, как ты?” от старшей дочери — сразу захотелось написать ответ, но, потомившись с полминуты, оставил на потом: надо хотя бы с позиций выйти, а из самой Сосновки напишу; при виде подобных весточек я становился не только сентиментальным, но и суевренным.

Продолжил, сразу же удаляя, листать неотвеченные вызовы, и тут, совсем неожиданное, объявилось: “Позвони срочно” — и дальше: твой такой-то. Человек, известней которого на Руси был только император.

Подобное послание я получал от него впервые.

Ещё раз покурил. Стрельба так же неспешно прекратилась, как началась, посылались громкие, но спокойные голоса в окнах: бойцы что-то обсуждали — то ли удачное попадание туда, то ли удачный прилёт оттуда.

Нет ничего веселей, когда опять кого-то миновало. Оказалось: легко контузило бойца на другом краю.

Пришёл Араб: ему надо было понять, куда мы будем бить со 120-го, сверив то, что нам докладывала разведка, с его личными наблюдениями и прочими вводными (которыми я мог не заморачиваться, просто потому что ему доверял). Ничего не спрашивая, я на секунду задержал на нём взгляд и увидел, что Араб примерно понимает, что мы в ближайшее время сделаем.

Он посмотрел на меня вопросительно: а какие у тебя новости? Это неожиданно сподвигло меня к звонку: думаю, вот отсюда и наберу, а то вдруг в самой Сосновке уже не ловит.

Написавший мне человек сразу взял трубку.

Раздался этот, с бесподобными переливами, артистической роскошной хрипотцой, то густой, то неожиданно высокий, почти всегда весёлый голос всенародного режиссёра:

— Привет, Захар, ты где сейчас, как? У себя там?

— Да, тут в одном месте. Чаёк пьём.

Араб налил себе полкружки и, стоя, отхлёбывал, молча глядя то на меня, то на стоявшего на входе бойца, явившегося что-то спросить. “Потом”, — сказал Араб бойцу, кивнув на меня: видишь, люди говорят, и отвернулся.

— Слушай, Захар. Тут есть одно дело. Не очень удобно по телефону. Но, раз ты далеко, скажу. С тобой не против поговорить один человек. Ты должен догадаться. Мы встречались, я вспомнил о тебе, и он говорит: а пусть придёт... Ты понимаешь, о ком я?

— Да. Думаю, да. Это очень вовремя.

— Тогда приезжай. Сразу набери меня. Приедешь ко мне — посидим, всё обсудим. Да, дорогой?

— Так точно.

— Ну, обнимаю тебя. Жду. С Богом.

Я отключился и некоторое время с улыбкой смотрел на Араба.

— Поехали домой? — сказал вдруг.

— У меня нет дома, — ответил Араб серьёзно. — Усыновишь меня?

Мы допили чай, я махнул своей личке: планы меняются, на передке ночевать не будем; а что будем делать, я пока не скажу.

Пожал руки тем, кто попались на пути, Граф и Тайсон на рукопожатия не отвлекались; пробежали — не столько пригибаясь, сколько сутулясь — эти двадцать метров; где-то стукнул одиночный автоматный, но, кажется, вообще не по нам; и уже неспешно двинулись вдоль посадки.

Метров сто я шёл спокойно, размышляя о недавнем разговоре. Надо же, только Батя спросил меня, могу ли я устроить ему встречу с императором, — и тут такая возможность; определённо, Господь присматривает за нами и хочет, как лучше.

В какой-то момент я глянул вправо — и вдруг увидел Араба, который нарочито неспешно шёл через поле наискосок: ровно по той тропке, где мы в тот раз ползали, глядя на красивые столбы, выбиваемые КПВТ.

По этой тропке больше никто не ходил, разумно желая продлить свои дни.

“Вот сучонок”, — подумал я весело.

Затеялся совсем маленький, моросистый, как бы размазанный, несфокусированный дождик — и уверенный Араб очень красиво смотрелся в этом дождике на фоне маслянистого, отекающего солнца.

Араб нарочно показывал разом что-то и взводу, оставшемуся на позициях, и мне. Бойцам — что имеет право отвечать им невнятное “Угу” на “Здравия желаю!” и показательно игнорировать попытки к нему обратиться с личным вопросом, потому что и так знает наперёд, что ему скажут и что придётся отвечать; лучше даже не начинать. А мне? Ну, не знаю — что, лень искать ответ.

Араб по многочисленным показателям меня превосходил. Зарывался он так, словно отслужил пехотинцем три войны; отлично стрелял из всех видов оружия, зная на зубок все ТТХ; если на раскладе что-то случалось с проводкой — он, раздражённый неповоротливыми электриками, вдруг гнал их

прочь и тут же чинил всё сам; то же происходило и с админом, вместо которого Араб сам устанавливал сеть; во дворе он похода ставил диагноз вставшему “козелку”, определяя характер поломки и способ исправления, в пику залипшим в размышлениях механикам; ориентировался на местности, легко читал карты, мгновенно запоминал, что, где и как выставлено, выстроено и спрятано у нашего несчастного неприятеля, — естественно, понимая всё и про наших корпусных соседей, все достоинства и недостатки их позиций и нашего с ними соседства; при всякой перестрелке, принимавшей даже самые остервенелые формы, он, не пригибаясь, носился по окопам, каждую минуту зная, чем заняться и ему, и всем остальным; когда случались “трёхсотые” — орал на медиков, давая даже не советы, а именно указания, что делать, — иной раз на бойце даже не успевали распороть штанину или задраить форму, но Араб уже разгадал, по одному ему ведомым признакам, из чего и куда именно попало.

Откуда-то он знал, к примеру, и сейчас, что стрелок на КПВТ устроил себе перекур, и “глаза” нашего несчастного неприятеля не обратят внимания на человека, неспешно идущего через поле.

Арабу я, естественно, ничего хорошего не сказал, когда мы встретились у машины. А сказал следующее:

— Вот ты идёшь посреди поля, и это твоё дело; но вообще, траектория выстрела из КПВТ, даже если минует тебя, о чём я ни минуты не стал бы жалеть, позволяет заряду проследовать мимо твоей головы, наискосок, и поразить, скажем, меня. Что мне категорически не нравится. При том, что ты мог быть виден нашему противнику, а я нет. (Вообще говоря, в нормальном подразделении начальник штаба стоит выше замполита, но не в нашем).

Араб знал, что я в целом шучу, и ничего не отвечал. У нас были отличные отношения.

— Уезжаешь? — спросил Араб уже в машине.

— Как ты догадался? — спросил я.

— Так... — сказал он неопределённо. — Надоели мы тебе.

— Ты всё понял про 120-й?

— Ага, — сказал Араб. — Ждать тебя?

— Да фиг знает. Не думаю. Сами решите.

— А кто тогда наши... спины прикроет от ударов начальственной суковатой палки?

— Между прочим, Глава души в тебе не чаёт. Ты нравишься ему куда больше Томича.

— Это в тебе он души не чаёт, — мрачно сказал Араб.

Я ласково посмотрел на него в зеркало заднего вида.

У Араба не было ни военного, ни медицинского, ни какого-либо ещё высшего образования. Он был потомственным шахтёром.

\* \* \*

До Москвы решил ехать на “круизёре”: на обратном пути подарков захватить батальонной братве.

Граф и Тайсон привычно обыскали с утра багажник на предмет нахождения там чего-то совсем не нужного российским пограничникам.

Вокруг нас бегала хозяйкина мерзкая собачка — три килограмма непрерывной истерики, две бешеные бусинки на месте глаз, крысиная мордочка; она не столько лаяла, сколько дребезжала от негодования. Едва ли возможно объяснить, как мы её за без малого два года не зашибли.

Только что проснувшийся Злой провожал нас в тапочках до машины.

Тайсон безупречно сыгранным отеческим тоном напутствовал его:

— Злой, ты за старшего остаёшься. Ты, а не собака, запомни.

Злой добродушно потягивался в ответ.

— Поедешь обратно, — цедил, — смотри, чтоб у тебя таксист оружие не отобрал. А то будешь просить: “Дяденька, оставьте хоть один патрон, я военный! В спецназе служу!” “Молчи-и, душара! — скажет тебе. — И берцы

тоже снимай!" Оятье в носках придёшь домой... Ты до звонка достаёшь, я забьт. А то бракай камушками через ворота. Я услышу. Может быть.

— Собака, — не обращаа ни малейшего внимания на произносимое Злым, обратился Тайсон к путавшейся в его ногах шерстяной психопатке. — Сегодня он старший. А не так, как в прошлый раз.

Я их обожал. До сих пор никто меня не может так рассмешить.

На Успенке выдал Графу и Тайсону две тысячи на обратное такси и закатился на "круизёре" под шлагбаум.

Донецкая таможня меня никогда не досматривала.

На российской — некоторое время придирчиво рылись в машине: "Поднимите капот", "Откройте багажник, "А это что?", "А бардачок ещё", "Точно ничего запрещённого нет?"

Я ничего не мог поделатъ — и за все эти годы так и не избавился от лёгкого, ненарочитого снисхождения к необстрелянным людям в форме, которые пытаются утвердить надо мной, только вчера ещё бродившим в гибельных местах, свою власть.

Они чаще всего чувствовали подобное отношение.

Это ничего.

Это всё человеческое. На человеческое сердиться не стоит.

Даже Батя — и тот проходил досмотр на своей машине (хоть и по правительственной линии, но она ничем от обычной не отличалась), и выходил с паспортом к окошку погранслужбы.

Без остановок пролетал не только донецкую таможню, но и российскую один Пушилин. А мы не гордые, мы можем и потоптаться под пристальным взглядом пограничницы в будке, всегда чуть медящей, прежде чем отдать мне паспорт. Наконец, без малейшего чувства:

— Всего доброго!

— И вам, дорогие мои.

Тысяча триста километров до Москвы — мне нравилась эта трасса, это вдруг явившееся одиночество. По дороге дозванивались люди, искавшие меня дольше и настойчивей всех:

— Может, всё-таки съездите на конференцию, Захар? Принимающая сторона очень ждёт, билеты вам купят. Женеву посмотрите. Окрестности. Они очень просят, правда.

Мне было настолько хорошо сегодня, что я согласился: расскажу приличным европейцам о нашем террористическом житье-бытье.

Саша Казак всегда приветствовал эти поездки: по сути, со всей Донецкой республики я был едва ли не единственный выездной и должен был поддерживать наше реноме не как банды отморожков, а как-то иначе. Так что это было в известном смысле ещё и моей обязанностью в качестве советника Главы.

Ближе к вечеру, заправив машину после шестисот километров пути, набрал всенародного режиссёра; он: "...Едешь? Ну, молодец! Завтра жду! Адрес знаешь мой? Запиши или запомни..."

К полуночи я обычно прибывал в столицу и падал на какую-нибудь подходящую случаю кровать. Бесконечно довольный чем-то неизъяснимым.

Из месяца в месяц меня не покидало одно и то же чувство: не то, чтоб всё происходило не со мной, — определённо со мной, — но едва ли я должен быть на этом месте: меня с кем-то перепутали.

К обеду явился по указанному адресу, мне открыли ворота, приветливо показали, где ставить машину.

...Впервые он позвонил мне лет десять назад. На телефоне высветился неизвестный номер: "Привет, это..." — и он назвал свою фамилию: лёгкую, ловкую, ассоциирующуюся сразу со всем его обликом, со всей его жизнью; в фамилии умещались и слышались сразу и его блистательная сановность, и его хохоток, и мягкость, и хватка, и барская, скорей, очаровательная, при подобающем, а иногда не вполне подобающем случае хамоватость, и словно бы щекотка, которая неизменно и незримо чуть смешила его в любых ситуациях, и хук слева, которым он, невзирая на чины и положение, мог усадить, развалить всякого, пошедшего на него лоб в лоб, и меха его шуб, и альковное что-то, и церковное.

Он был человек невероятного природного дара. И невероятной вживляемости в любые времена. Закрываая, нет, даже не закрываая глаза, его за просто можно было представить в петровской эпохе: единственный, кто — наряду с кем там? со стариком Голицыным? и делягой Алексашкой Меньшиковым? — мог пройти сквозь гнев и рёв Петра, и выйти из этого огненного смерча не опалённым, но, напротив, награждённым: за дельный совет, за ту силу, с которой он растворял в себе державную боль или блажь.

Прирождённый царедворец.

Он говорил со мной минуты полторы — и это был не голос в трубке, а целое представление, которое накрыло меня тут же; словно бы мне сказали: “Закрой глаза! Теперь открой глаза!” — я открыл и — Боже мой! — вокруг мигают чудесные фонарики, сверкают шутихи, но здесь же, чуть поодаль, пугает самым своим видом пустая зловещая виселица (“Это не тебе, голубчик, это не тебе, не пугайся!”), и воздух полон гудом чего-то невидимого, и сладко томит предчувствие странного диковатого карнавала, где у меня тоже роль, но я её ещё не выучил, я даже её не знаю.

Когда он отключился, я ещё некоторое время хлопал глазами, видя и слыша вокруг себя всё это. Потом прошло; но сахарок на доньшке остался. Можно накарябать и подержать на языке, жмурысь.

Он звонил раз в три или в четыре, или в пять месяцев — всегда весёлый, всегда счастливый, всегда полный очарования и сил: без труда можно было догадаться, как он умеет влюблять и покорять и как он умеет давить — тоже.

Потом мы встретились, обнялись — мне искренне казалось, что он раза в два меня больше, что у него огромные руки, что меня прижала на миг к могучей груди сразу вся русская аристократия — вернее даже, боярство.

При таких объятиях сразу ощущалось, что род мой захудал, что предыдущую тысячу лет медок я пробовал только в гостях, да и молочка с яичком доставалось мне не всегда; но грех жаловаться всё равно — дополз же и до этого чудесного дня.

Из дюжины главных национальных фильмов мой старший товарищ сделал треть, но воспринимались они уже не как мелькание кадров на экране, но как часть общенародной и личной моей биографии.

Помимо этого, он заседал в государственных советах, владел, по слухам, алмазными копиями и деревообрабатывающими производствами, присматривал за всем остальным кино сразу и был советником императора не то чтоб по каким-то конкретным вопросам, а, скорей, по делам всего сущего, движению светил небесных и копошению гадов земных.

Наконец, он был один из самых известных и титулованных русских в мире, где-нибудь между Шаляпиным и Барышниковым, и не столь многими иными.

...Встречающий подвёл меня к дому; режиссёр — в чём-то домашнем, лёгком — вышел навстречу.

Я плавно переместился в какой-то то ли виданный, то ли нет, но давно ожидаемый фильм.

Гости съезжались.

Четверть часа спустя мы расселись за большим столом.

Закуски манили.

Хозяин — во главе.

По правую руку отчего-то усадили меня, приبلудного, по левую — действующего министра. Следом, поочередно: православный батюшка — мудрец и, более того, не в ущерб сану, остроумец; напротив — харизматичный (глаза! нос! голос!) представитель богоизбранного народа, кажется, фотограф или фельетонист. Далее — прямой потомок одного русского классика, титана и, в панда, капитан дальнего плавания, вернувшийся из кругосветного путешествия...

Это была режиссура.

На самом конце стола — сбоку припёка, поодаль, через два пустых стула от крайнего — сидела одна из дочерей режиссёра: тонкая, высокая красавица, смотрящая на всё происходящее с легко и безупречно замешанными любовью (направлена ровно на отца, остальным досталось по касательной),

пронией (объект растворён в пространстве и визуально не опознан), тепло-той (к миру вообще и к этому лету в частности; впрочем, в дальних комна-тах кричали и боролись с присмотром няnek её, кажется, дети, — возможно, что к их голосам).

В разгар вечера явились ещё несколько гостей — и они лишь дополни-ли эту мозаику, этот вертоград.

Обед был, в сущности, прост, но нельзя не оценить насыщенность этой простоты: щи, гречневая каша, рыбка томлёная, пироги, свои соусы, водоч-ки-наливочки; с боярских ли, с петровских ли времён — ничего за этим сто-лом не изменилось.

Я мало ел, совсем не шил — не то чтоб пугался сесть после этого за руль, совсем не пугался, а просто мне и без того было очень хорошо, и я был бла-годарен этому человеку: его жестам, его повадкам, его невероятному остро-умию, его умению расставить предметы так, чтоб удивление было всеобщим и никто не оставался в тени.

Уже вечерело, когда я вышел покурить, и он появился следом; его дочь тоже курила, стоя за колонной, но отец её не заметил, и, завидя нас, она сделала молящие (очаровательные, на самом деле) глаза: “Не выдавайте от-цу!” — и показала дымящуюся тонкую сигарету.

Я подмигнул ей. (Мы тут были самыми молодыми — и, согласно кано-нам классического романа, я мог в эту минуту подмигнуть.)

— Идёшь? — спросил меня хозяин по той теме, о которой уже сообщил ранее.

— Надо идти, — сказал я.

— Придумал, о чём будешь говорить?

— Не совсем.

— Захар, милый мой, — откинулся хозяин, тут же заметил выглянув-шего из-за стеклянной двери работника в белой рубашке и попросил: — А сделай-ка нам... чайку. Чайку, да? — это уже ко мне, и снова к нему: — С травкой... Захар, кто ему ещё скажет о самом главном?

— Хорошо, — улыбнулся я. — Попробую.

Было понятно, что человек передо мной, помимо тысячи прочих дел, не-сколько раз совершал и это: подводил одного неразумного, но имевшего при-вычку размышлять вслух человека к Владимиру, Ярославу, Димитрию, Ва-силию, Иоанну, Михаилу, Алексею, Анне, Екатерине, Павлу, Александру, Николаю, только забыл, чем это всякий раз заканчивалось.

Рублём одаривали?

На дыбу тащили тело молодое, вздорное?

Говорили: “Надоел, выйди”?

Скорей, последнее.

Печаль в том, что ничего самого главного я не знал.

Те вещи, что были сейчас самыми главными для меня, казались ли они столь же важными там, в поднебесье?

Кто же мог мне подсказать... Никто.

Я попросил ничего пока там не говорить, не напоминать обо мне. Ска-зал, что позвоню сам и скажу, когда буду совсем готов.

\* \* \*

В Женеве мне сообщили: сядешь на такси и приедешь в такую-то точ-ку, это соседний городок или даже соседняя страна; в Европе такое всё ак-куратное, подобранное, близкое — пока дремлешь на задних сидениях, мож-ешь миновать три бывших империи, скукожившихся до размеров дамской перчатки. Соберутся послы, сообщили мне, влиятельные люди, представите-ли медиа, будет международная конференция, посвящённая национальным отношениям и сложной роли вашей страны; для вас предусмотрена отдель-ная встреча со всеми желающими, и закрытый ужин будет в финале, вам передадут отдельное приглашение к ужину на месте.

День обещал быть насыщенным.

Я взял такси, показал, чтоб вообще не открывать рот, водителю адрес в приглянувшей мне организаторами СМСке, и мы поехали. Часа через полтора шофёр прижался к обочине, пробурчав: мол, выходи, приехал, тебе сюда. Куда сюда — ничего не ясно. Даже не понял, на каком языке он говорит. Я вышел. Увидел высокий забор: чёрные прутья, заострённые концы; с той стороны вроде кто-то толпится, но не очень много людей. И на воротах — два высоких охранника в чёрной форме. Проверяют у всех бейджи. У меня никакого бейджика не было. Быть может, он лежал в той сумке, что мне передали, но я поленился рыться.

Не размышляя, пошёл к воротам, обогнул нескольких людей, которые что-то торопливо объясняли охране, попутно раскрывая свои сумки; подмигнул взглянувшему на меня охраннику, как соседу по многоквартирному дому, — он, к собственному удивлению, тоже ответил мне узнающей улыбкой, — и, не сбавляя хода, направился к официанту, который разносил шампанское.

Взял два бокала, один тут же, залпом, выпил и поставил на поднос, а со вторым отправился прогуливаться по дворику.

“Забавно, — подумал, — если таксист привёз меня куда-то не туда. Сейчас я выхожу здесь всё шампанское — и пойду искать правильное место”.

Минут через десять ко мне подошёл приветливый, чуть стесняющийся человек в красивом костюме и спросил, чуть сомневаясь в своей удаче: “Захар?.. Мы все смотрим на вас. Как хорошо, что вы приехали. Директор Русского Дома просит представить его”.

Директор был с женой. Жена его была бесподобна и необычайно приветлива ко мне. Она поздоровалась со мной, словно мы давние приятели, хотя никакими приятелями мы не были, я видел её первый раз в жизни. У неё была чудесная гривка чёрных кудрявых волос, смуглая кожа, маленькие зубки и удивительно красивый, улыбающийся рот. Она была совсем не похожа на русскую, но при этом определённо была русской. Разницу в возрасте между ней и директором я оценил примерно в двадцать пять лет. И пятнадцать — между ней и мною. Директор, кажется, был привычен к тому, что на его жену время от времени глазают. Он даже не брал жену за талию, чтоб продемонстрировать её принадлежность ему. Он был в ней безусловно уверен.

Меня переводили от посла к послу, от консультантов по международным отношениям к чиновникам сложно выговариваемых ведомств; каждый давал мне визитку, я складывал их в задний карман чёрных джинсов.

В погоне за очередным бокалом шампанского меня поймал под руку ещё один, как и предыдущие, не известный мне человек: “Захар, на одно слово”. Мы отошли и встали чуть в стороне от собравшихся. Он представился; я, как и прежде, сразу же забыл имя этого человека — да и к чему запоминать так много имён сразу? — за последние двадцать минут я познакомился с полусотней замечательных людей, у каждого должность, имя, у некоторых ещё и отчество, а в отдельных случаях не помешает и фамилию запомнить; но куда мне, я не в состоянии. Жену директора зовут Таисия; этого достаточно. Вообще, даже это перебор, потому что к ней подошёл парень лет двенадцати, но уже высокий, в очках, — вид отличника во всех науках сразу, занимающегося, ко всему прочему, ещё и греблей. Конечно же, предполагается, что у взрослых людей, включая красивых женщин, тем более, если они замужем за директорами международных ведомств, случаются дети, но всё равно это как-то сбивает: ну, вот... Сын.

— ...министр иностранных дел Украины и посол этой страны выразили официальный протест в связи с вашим приездом. Посол, обратите внимание, даже не явился сюда, — сообщал мне отведший меня в сторону человек; видимо, он отвечал за безопасность. — Надеемся, что обойдётся без эксцессов, но на всякий случай имейте в виду.

Я улыбнулся и кивнул.

— И вот ещё письмо от украинских представителей ПЕН-клуба — хотите, оставлю вам на память? Оно на нескольких языках... Кроме русского.

Я не знал никаких языков, только самый смешной минимум английских слов, чтоб заселиться в гостиницу и съесть что-нибудь в кафе, однако и моих



знаний вполне хватило; после беглого ознакомления с письмом выяснилось, что страшной меня в нынешней Европе никого нет вообще: киевские сочинители сравнивали меня с одним скандинавским вырожденком, перестрелявшим не так давно толпу детей из ружья, призывали задержать меня с применением грубой физической силы, запечатать в посылку, переправить им, а уж они обо мне позаботятся. В качестве обоснования для столь радикальных мер были перечислены следующие мои характеристики: террорист, убийца мирного населения, маньяк, своим поведением выведший себя за рамки человеческой морали, которая теперь в принципе ко мне не применима.

В былые времена с подписантами этого письма я вместе пиво пил и при встрече мы обнимались.

В случае и означенных товарищей, и вообще привычного полемиста с той стороны меня всегда поражала эта невинная, чистоглазая убежденность в своей правоте, лишённая каких бы то ни было рефлексий. Всегда ведь можно покричать на людях, но потом выйти во дворик покурить и сказать: ну, всё понятно, чего делать-то будем?

Нет! Они не хотели во дворик.

У них всё было коротко, твёрдо, ясно: вы пришли и убили наших детей.

Нет, ну, как так? Вы же сами их убили. Вы. Они из вон той пушки убиты, я могу на карте показать, где она стояла.

Это какой-то классический сюжет, я не помню, где его встречал, но он точно был: когда находят труп, а рядом — бледный человек с вытаращенными глазами; у него спрашивают: “Ты зачем убил?” — он смотрит по сторонам и вдруг начинает орать: “Это Людка убила! Она! Людка всегда его ненавидела!” — тут появляется Людка, вытирает дрожащие руки о передник и: “Я? Что он говорит? Как же так?” — и беспомощно плачет.

Или: мальчишка заревновал приёмного сына к родителям, взял и оттащил его на ледяной балкон, и оставил там. Вдруг явились родители — и видят эту картину. Говорят: “Ты рехнулся, сынок?” — а он кричит: “Вы сами! Это всё вы! Это не я! Вы его там оставили! Он заплакал, я пошёл забирать его с балкона!”

Мы в этом классическом сюжете — не родители и не Людка, кто бы спорил.

У нас тоже есть пушка, и мы из неё стреляем, я даже назвал, откуда — из Коминтерново, из Пантёхи, из Сосновки, я там везде был. Но это Киев пришёл на Донбасс, а не Донбасс добрался до Киева. Разница слишком заметна.

Мы, русские, уроды ещё те. Но, когда заявили в Чечню, мы не говорили: Басаев пришёл на нашу землю и убил наших чеченских детей. С хера ли он пришёл, этот Басаев? Он там жил. Он там жил и начал борзеть. Явились мы и убили его. Еле-еле получилось. Да, мы это сделали. Зачем кривляться? Зачем сочинять эти стыдные письма?

Зато европейцы вдруг стали казаться мне вполне симпатичными ребятами.

У нас принято порицать их за лукавую позицию в связи с донбасской герильей, но, стоя теперь с шампанским в руке, я веселился.

Европейцы вели себя с изысканной иронией, а по сути, они просто издевались: “О, это, наверное, возмутительно! Террорист, убийца... Как плохо, мы не одобряем... Что, не пускать его? Ну, не знаем. А каким образом? Мы не можем ничего поделать. Он уже приехал. Попробуйте с ним в режиме диалога?..”

Европейцы могли сколько угодно носить безупречную личину цивилизованных людей, но они знали толк в убийствах, они знали толк в фарисействе, они знают толк в дипломатии. Они могут подыграть истерике — покачиванием европейской головы. Но ждать, что они впадут в истерику тоже?

Ко мне подошёл организатор конференции — солидный джентльмен: седая грива, шарфик, крепкое рукопожатие; сказал, что рад приветствовать меня, ещё какие-то подобающие случаю слова, и выверенным движением руки чокнулся со мною.

Тот, что отвечал за безопасность и по-прежнему стоял рядом, с улыбкой сообщил организатору о заявлении посла и письме ПЕН-клуба.

— Оу, — сказал организатор конференции. — Я знаю, знаю, — добавил он и сделал совершенно безупречный жест рукой: всего один полувзмах аристократическими пальцами.

Попробую перевести этот блистательный минималистский жест, заранее понимая безуспешность попытки, — и, тем не менее, вот перевод: “Пожалуй, мы не станем обсуждать этот несколько комичный, хоть и заслуживающий упоминания инцидент. Вы, друзья мои, тоже не бесспорны — и, тем не менее, вы здесь: я сделал всё, что мог, не просите большего. Нет, я могу, чуть склонившись к вам, шёпотом сообщить, что с их стороны это просто глупо — выступать здесь со вздорными требованиями, но верно ли вы истолкуете мои слова, друзья мои? Не поймёте ли вы это, как одобрение участия нашего гостя в протекающих военных действиях? Увы, я не вправе это одобрить. Мы — нейтральная сторона, готовая выслушать всех. На самом деле, скажу я вам, перейдя уже не на шёпот, но на шевеление губ, — до недавнего времени я был уверен, что Украина — это часть России. Здесь почти все были в этом уверены. Но, те-с-с, пора уже за работу. Встретимся на ужине”.

И ушёл.

Мы двинулись к зданию, где проходила ярмарка.

У входа я увидел человека, державшего плакат с написанными на латинице двумя словами. Присмотревшись, я разобрал свою фамилию и, ниже, незнакомое мне слово “ассасин”. Кажется, я слышал его в каких-то сказках, но теперь забыл.

“Надеюсь, это приличное слово”, — подумал я и, поравнявшись с человеком, выглядевшим несколько дурковато (как минимум, он был слишком тепло одет для такой жары), спросил у него:

— Куда вам монетку бросить?

— Что? — сказал он, глядя куда-то поверх меня, словно источник звука был там.

Ответственный за мою безопасность мягко взял меня под локоть, и грустно, как бы не мне, сказал:

— Ох, Захар.

Мы прошли на российский стенд. До моего выступления оставалось полчаса. Шампанское гуляло во мне, как молодой казак по улочке, где живёт его зазноба.

— Украинский стенд — вон там, мы соседи, — шепнул мне кто-то, возможно, мелкий бес.

В этом соседстве тоже была своеобразная европейская ирония. Организаторы могли бы проредить: рядом с Россией, на “Р”, разместить Руанду, а рядом с Украиной, на “У”, — Уганду; но нет, плечом к плечу поставили, забавники, шельмецы.

Едва на меня перестали обращать внимание, я ушёл к соседям. Под Соновкой так не сделаешь, а тут пожалуйста.

На украинском стенде угощали.

Я ведь, хорошие мои, влюблён в Украину.

Одна печаль: теперь слова “Я с детства был влюблён в Украину” проходят по тому же разряду, что и “Нет, зачем вы так, у меня даже есть друзья-евреи”.

Но как сказать иначе, если любишь?

Помню себя в детстве — сколько мне лет было? девять, думаю, десять, может, одиннадцать, совсем пацан, — и вдруг обнаружил где-то на чердаке сборник украинских стихов, без перевода.

Книжкой заболел: ходил и повторял наизусть. Почти все слова были понятны, но звучание их казалось волшебным: словно, знаете, когда долго давишь на глаза кулаками, потом отнимаешь руки — и вдруг создаётся иная оптика: мир становится плывущим, странным, тёплым, ласковым; такой же речевой казус случился со мною.

Сейчас не буду читать вслух, а если встретитесь мне, я вам нашепчу вполголоса, по памяти, покачивая рюмкой, но не проливая.

Моей бабушке, выросшей на юге нашей земли, мова была знакома, — она слушала мои чтения наизусть и поправляла иногда: это ж общий наш

язык, в крови растворённый. Запорожские казаки, гайдамаки, дейнеки — всё это кружило вокруг меня и было родным куда больше мушкетёров, индейцев или пиратов. Впрочем, запорожцы сами — те ещё пираты, страшной не придумаешь.

Они все были — родня моя. А что были: остались.

Война — она всегда за детство, за первые стихи. А вы как думали? За дураков и чью-то корысть? Нет, сначала за собственное детство. Всё остальное — потом.

За высокой длинной стойкой, ничем не покрытой, стоял молодой мужчина — усы, причёска, вышиванка — и угощал всех желающих. Рюмка хренухи, сальце с хлебушком.

— А меня угостите? — спросил я, улыбнувшись своей, предположительно, лучшей улыбкой.

— Будьте добри... — начал он и осёкся. Он так и держал в руке рюмку, которую уже начал мне передавать; другой рукой двигал блюдечко с хлебушком и салом, и тоже остановил движение.

Мы так и стояли: он с рюмкой и я — с широко открытыми глазами.

— Ну, сам вышей, раз так, — сказал я.

И пошёл дальше по стенду. На меня косились — причём иные, покосившись, так и застывали с повернутой набок головой, — но никто ничего не говорил, кроме человека за стойкой: он произнёс какую-то фразу на украинском — я не понял её; в поэзии, читанной в детстве, не было этой фразы. Вроде бы он сообщил всем, что сейчас погубит меня.

Я оглянулся и некоторое время смотрел на него, но он так и стоял на своём месте, весь в красную крапину. Наверное, послышалось.

На российском стенде уже собирались люди, их было много, они были по-европейски выдержанны и спокойны. Меня усадили, меня объявили, — и тут же, в один миг, по не замеченному мной сигналу, в разных концах уставленной пластиковыми белыми стульями площадки поднялись люди, в количестве примерно десяти человек. В основном это были женщины, прожившие в нашем трудном мире не менее полувека, и, вроде бы, пара мужчин, молодых, почему-то чернявых. У всех на белых листах была одна и та же надпись про ассасина.

Я спросил у переводчика, как переводится это слово, он спокойно ответил (как если бы пояснил перевод слова “скальпель” или слова “выключатель”): “убийца”.

Вставшие люди, перебывая друг друга, — видимо, спутав роли, — начали произносить какие-то речи; я ничего не понимал, и, кажется, не только я.

Переводчик некоторое время хмурился, вслушиваясь, потом сказал:

— У них очень плохой французский, — ещё послушал и добавил бесстрастно: — Если это вообще французский.

Дождавшись, пока они закончат, мы славно поговорили с остальными собравшимися; при всём том, что люди с плакатами так и стояли, и, думаю, у некоторых из них затекли руки.

Общение строилось так, будто ничего не случилось. Если б стоявшие люди были голыми, реакция сидевших оставалась бы точно такой же: никакой.

Только в самом конце я сказал: мы воюем не за Россию — мы воюем за Украину, — и, кажется, всем это понравилось, сидевшие стали аплодировать, найдя каламбур удачным; разве что одна половина державших плакаты вдруг резко подняла свои листки вверх, а другая, напротив, начала поспешно их складывать вдвое или даже вчетверо и прятать в сумочки.

Всё время моего выступления жена директора Русского Дома стояла справа от небольшой сцены и внимательно смотрела на меня, никак не выражая отношения к произносимому мной.

Я встал, чтобы найти себе ещё шампанского, но ко мне ещё некоторое время подходили слушатели и, через переводчика, рассказывали о своих эмоциях. Все сказанные мне слова были одобряющими и тёплыми. Добро это было обращено не только ко мне, но и к людям, которых я представлял и которые остались сейчас, к примеру, в окопах под Сосновкой.

Невысокий, но крепкий европеец, сообщив, что он служил в Иностранном легионе, пожал руку и по-русски, словно долго готовился дома, медленно, но упрямо произнёс:

— Пе-ре-дай... прив-вет... Захарченко! — И мы оба засмеялись.

И только самый последний из подошедших ко мне — отлично одетый мужчина моего возраста, — спокойно дождавшись своей очереди, сообщил с мягким, южнорусским выговором:

— Я хочу сказать тебе только, что ты подонок и мразь.

— Ой, ну прекрасно, — сказал я. — Что-то ещё?

— Нет, просто подонок и мразь.

— Отлично. Если вы хотите продолжить разговор, то, думаю, это разумней сделать где-нибудь под Донецком, правда? Даже могу уточнить место.

— Подонок и мразь, — повторил он, как бы не слыша.

— Да-да, я понял, — ответил я.

\* \* \*

За ужином меня посадили к директору, к его жене, к их сыну. Мы много поговорили с директором о том о сём. Таисию, жену директора, я мысленно переименовал в Таю, чтоб покороче. Смотреть на неё, тем более в присутствии мужа, было бы странно, поэтому я безболезненно для всех разглядывал их сына, к счастью, он был похож куда более на мать, чем на отца: изящные черты лица, маленькая ямочка на остром подбородке, маленькие ноздри, разрез глаз, что-то неумовимо очаровательное в облике и повадках — всё было материнское; от отца — только слишком белая, не подчиняющаяся никакому солнцу, кожа. Только у сына — тугая и белая, а у отца — цвета разваренного картофеля.

Мать несколько раз поймала мой взгляд, обращённый на её сына, улыбнулась, потом чуть нахмурилась, но, кажется, так и не догадалась, что именно в нём меня заинтересовало. Мальчик, к тому же, в отличие от матери, не чувствовал взгляд и был озабочен лишь перепиской в своём мобильном.

Отец ему сделал несколько замечаний, тот столько же раз ответил неопределённым мычанием, как бы обещая убрать телефон. В конце концов, мобильный забрала мать — не меняя при этом в лице, то есть, улыбаясь. Но когда уже убирала телефон в сумочку, несколько раз, еле заметно, мягко прикусила себе губы, как будто вспомнила что-то важное.

Помимо директорской семьи, за нашим большим столом расположились ещё три или четыре человека, но все они были иностранцами, что — я обрадовался заранее — избавит меня от необходимости поддерживать разговор с ними: я спокойно смогу жевать, кивать и улыбаться.

Я сообщил Таисии, что не знаю никаких иностранных языков, она улыбнулась в том смысле, что "...ничего, бывает", хотя сама — как я заметил ещё на улице — легко говорила минимум на двух европейских.

Она тут же взялась подряд переводить мне всё, что обсуждали сидевшие за столом, — в чём я, вообще говоря, совершенно не нуждался, — но тут же, впрочем, понял, зачем она это делает: перевод давал ей возможность легально, при муже, разговаривать со мной, смотреть глаза в глаза, чтоб я мог видеть её рот, её губы и её язык.

Муж сидел как ни в чём не бывало — большой, грузный, снисходительный, стареющий, с белыми, покрытыми пигментными пятнами, снулыми руками; хотя с приборами на столе управлялся он на удивление хорошо.

Я-то привычно в них путался и видел, что жена директора это замечает.

"...твой сынок тоже путает приборы", — подумал я и посмотрел ей в глаза без всякого смысла, но чуть дольше, чем нужно. На этот раз она не улыбнулась, некоторое время выдерживала взгляд, потом дважды сморгнула, словно что-то попало на ресницы, и, опустив глаза, некоторое время разглядывала край своей тарелки. К директору подошёл тот человек, что отвечал за охрану, и, взмахом рук извинившись перед сидящими за столом, начал что-то шептать ему на ухо. Тот кивал, а потом, сказав: "Извините, я на

секунду”, — поднялся и отошёл, по-моему, совсем недалеко; я не смотрел.

Его жена тут же, отложив вилку и нож, снова подняла на меня глаза. Взгляд её был строг и прям. Я смотрел в ответ, не откладывая вилку, но, напротив, держа её почти вертикально; чуть потряхивал ей, будто внутри у меня играла мелодия, и я отстукивал по воздуху такт.

Её сын сидел рядом и размеренно жевал. Кажется, он продолжал ту переписку, которой его лишили, в голове.

Иностранцы говорили о чём-то своём, причём достаточно громко, но у меня было ощущение, что они где-то на другом берегу.

Она не выдержала моего взгляда и опять отвела глаза в сторону. Словно не зная, чем занять руки, взяла себя за конец кудрявой пряди, чуть натянула её, распрямив, и через секунду отпустила. Прядь снова закудрявилась. Снова взяла, натянула, но уже не отпустила, а намотала на палец.

— Что-то невозможное происходит, — сказал я.

— Я чувствую то же самое, — ответила она быстро.

— О чём ты? — бодро переспросил муж, явившись всем своим крупным телом откуда-то из полутьмы, гомона и стука тарелок.

Кажется, он слышал только её фразу.

— Захар досадовал, что европейцам сложно понять донецкие реалии, но что-то меняется, — пояснила она. Речь её была быстра.

“Интересно, кто быстрее говорит, — подумал я отстранённо, — Томич или она? Существуют ли приборы для измерения скорости речи? Создания психологических портретов на основе этой информации...”

Директор согласился с тем, чего я не говорил; и мы немного обсудили это. К поднятой теме подключили и других сидящих за столом; они, как водится в среде воспитанных европейцев, высказались в целом согласно, но без малейшей определённости: “...это всё ужасно, хотелось бы, чтоб происходящее поскорее завершилось”, — ну, ещё бы, *пусть всегда будет солнце*.

— Вы ведь сегодня уезжаете? — спросил директор под десерт.

— Не просто сегодня, а вот сейчас — допью кофе и буду искать такси.

— И в Донецк сразу? — удивился директор; или сделал вид, что удивился.

— Ну, а куда? В Москву, за руль, я оставил там свою машину, и в Донецк. Двенадцать часов — и на месте.

— Даже так... Не утомляет вас такая скорость передвижения?

— Не знаю. Пока нет. Не знаю. На самом деле, это отличный способ отдохнуть — за рулём.

— И я тоже хочу отдохнуть, — вдруг вступила жена. — Я отвезу Захара в аэропорт? А Егора ты заберёшь.

Стараясь не смотреть на мужа, я перевёл взгляд на сына, который включился только при известии о материнском отъезде: “Мам, а телефон? Отдашь мне телефон?” Наверное, он работал от телефона. Это была его первая полная фраза за весь вечер.

— Да, — беззаботно ответил муж. — Пойдёмте, покурим на дорожку, и... Быть может, вы ещё хотите джигестив, Захар? Нет?.. Мы приглашаем вас в гости, — продолжал он по дороге и уже на улице. — Понимаем вашу — тут даже слово “занятость” не подходит — вашу жизнь, — но вдруг вы соберётесь отдохнуть? Мы найдём возможность разместить даже детей и супругу, если вы их привезёте. И сами выспитесь хотя бы.

Он был отличный мужик, наверное.

После разговора на тему отдыха и возможного семейного приезда тональность нашего общения с ней сразу и, пожалуй, благополучно изменилась, — странно было бы ехать в таком же наэлектризованном, почти фосфоресцирующем напряжении до аэропорта; так можно, в конце концов, куда-то врезаться.

Мы старательно болтали. Поначалу это был почти труд.

Таисия, кажется, оставалась взволнованной — это странным образом успокоило меня, — и поэтому, когда она начала путаться в дорожных развязках, я взял навигатор в руки и начал помогать ей: левее, прямо... вот этот поворот, этот-этот, вот сюда, так... ещё семьсот метров. Это скрасило путь

и объединило нас в общем занятии. Мы стали привыкать друг к другу. Наше общение длилось более часа — что ж, это срок. На территории аэропорта она ловко припарковалась и, совсем уже успокоившись, спросила:

— Мы будем дружить? Напишешь мне?

Я засмеялся, повернувшись к ней и разглядывая её. Она перешла на “ты”. Только что.

— Только не про любовь, да? — сказала она, тоже улыбаясь, но просьба эта была, что ли, чуть серьёзней, чем могло бы показаться.

“Нахалка, вот ведь”, — подумал.

— Просто дружить, — сказала она.

Я ни секунды в это не верил — в такую дружбу. Я дружу только с мужчинами.

— Конечно, напишу, — сказал, не зная ещё, вру или нет.

Мы вышли на улицу: расставаться в машине было бы странно для пока ещё друзей по возможной переписке, но не более...

— Езжай, — сказал я, тоже перейдя на “ты”. — А то дорого обойдётся стоянка.

— Да. Я не пойду туда, — согласилась она и, подойдя в упор, взяла меня двумя руками за голову и трижды поцеловала, по русскому обычаю: в щёки.

Откуда-то из-под её платья послышался странный вкус: как рукоятка велосипеда пахнет, на котором долго, летом, едешь, — только живое в этом было, только юность.

Потом, опустив руки, она поймала мою кисть и крепко сжала.

Она написала мне СМС, едва я зашёл в аэропорт. Несколько СМС, когда я сидел в самолёте.

Когда я прилетел и включил телефон, тут же упала её, летевшая за нами, СМС с требованием ответить, едва самолёт сядет, что я на месте. Я подумал, стоит ли: всё-таки была уже ночь, — да и надо ли? — ведь не надо... Но ответил. Она тут же написала мне: хорошо, я рада, напиши, когда сядешь за руль. Я сел за руль и написал ей, что уже еду. Потом — что выехал из Москвы. Рядом с ней спал её муж; думаю, что один раз, переворачиваясь на другой бок, спросил: “Ты чего?” — но был удовлетворён её, в духе сына, многозначительным мычанием.

За час мы обменялись ещё дожиной СМС вполне невинного свойства. Она оказалась остроумна. Было забавно думать, как СМСки летают туда-сюда: обычные слова, при перелёте обрастающие особенными смыслами, словно в них добавили немного серебра или какого-то ещё металла.

Она заснула, как я понял, глубокой ночью. Я остался один.

Я так любил эту дорогу: сначала густая темь, и легковых машин становится всё меньше, только прут фуры. Трасса отличная, двух-, а то и трёхполосная. Я держал очень высокую скорость, не обращая внимания на камеры; потом приходили домой оглушительные счета за штрафы, но в семейном бюджете эта строка была заложена как обязательная, наравне с детским питанием, квартплатой и тёплыми носками для всех.

Как-то раз меня остановили на посту — где-то, кажется, уже за Воронежем, — я и мимо поста так ехал, на тех скоростях, когда машина будто не катится уже, а летит с обрыва, — тормознули, метров сто сдавал задом, тихо ругаясь матом. Мрачно забрали права, минут десять ждал, проклиная этих мудаков, вернулись, поцокивая, вдвоём — второй из любопытства привязался: на меня поглазеть. “Во всей базе вы у нас безусловный победитель по количеству нарушений скоростного режима”, — я даже выглянул в окошко: может, мне какой-то подарок полагаётся, плюшевая игрушка? Нет; назвали какую-то несусветную цифру возбуждённых по моему поводу административных дел и далее, театрально помолчав, но ещё не отдавая права, один из подошедших добавил с явным сожалением: “И всё оплачено”.

То, что я мимо поста шёл со скоростью пущенного из пращи камня, ими как-то забылось на фоне моих прежних достижений.

И вот, говорю, ночь, самый дальний её закуток, самые крепкие жмурки.

Из развлечений — минимум три.

Думать одновременно обо всём, не принимая ни одного решения.

Моя донецкая жизнь неслась, грохоча и пенясь, но выплывать приходилось, надеясь не столько на рассудок, сколько на интуицию.

Другое развлечение: выключать дальний свет, когда появляется встречная фура, и включать, как только поравняюсь с ней.

Третье: музыка, конечно. Когда ещё послушаешь столько музыки: двенадцать часов пути. И вот, подчиняясь каким-то внутренним эмоциональным перепадам, сменяются: *Iggy Pop*, Александр Вертинский, *50 Cent*, Александр Дольский, *Roger Waters*, Александр Ф. Скляр, *Duke Ellington*, ансамбль им. Александрова, *Marc Almond*, Сергей Рахманинов, *Bob Marley*, песни гражданской войны, *Damian Marley*, песни Отечественной войны, *Bryan Ferry*, “День Победы”, “*Depeche Mode*”, песни на музыку Анатолия Новикова, “*Portishead*”, Елена Фролова, *Eminem*, Рич, *Manu Chao*, “Ундервуд”, “*Alphaville*”, Вис Виталис, *Ray Charles*, “Новые ворота”, “Океан Эльзы”, Саграда, “*Arctic Monkeys*”, Скептик, *Post Malone*, “Агата Кристи”, *Adriano Celentano*, “Зверобой”, “*Gotan Project*”, Георгий Свиридов, “*R.E.M.*”, Рэм Дигга, “*Mando Diao*”, Джанго, Бранимир, “*No smoking orchestra*”, “Калинов мост”, *Lulu Gainsbourg*, “Аффинаж”, *Chris Isaak*, “Сплин”, *Nick Cave*, Михаил Щербаков, пристрастно подобранные сочинения из обширного творческого наследия Бориса Гребенщикова, Владимира Высоцкого, *Patricia Kaas*, казачьи песни, *Asaf Avidan*, Павел Капшин, “*A-ha*”, “Наутилус Помпилиус”, *Mikky Ekko*, Инна Желанная, 7Б, *Mylene Farmer*, Типси Тип, 25/17, *Waldemar Bastos*, “Запрещённые барабанщики”, “*The Doors*”, Григ, Глюк, Гайдн, “*Cure*”, “Машин-бэнд”, “*Dead Can Dance*”, Виктор Берковский, *Louis Armstrong*, Виктор Цой, Егор Летов, “*Nirvana*”, Александр Башлачёв, песни на стихи Бориса Рыжего, песни на стихи Есенина...

Нет, едва ли я смогу всё перечислить.

Но если б меня звали Жюль Верн, я бы непременно составлял наряду со списками всего остального необходимого перечень любимых пластинок, которые пригодятся в поисках пропавшего капитана.

Я наматывал это расстояние, то ли подтягивая лодку к причалу за швартовы, то ли, напротив, вытягивая что-то из воды, накручивая бечёвку на локоть, чувствуя приятную тяжесть будущего. Что там у нас тянется, что там у нас упирается?

Из воды мог появиться старый ржавый умывальник, осклизлое чёрное дерево, рыба-меч, просто рыба, просто меч, дурак с поганой весёлой харей в рыжих водорослях, русалка, наконец, вся в серебре.

Ещё можно тянуть, тянуть — и вытащить самого себя с объединенным лицом. Рак вьелся куда-то в шею и тоскует теперь от яркого света.

Много интересного в жизни получается, если долго стараться.

Когда навигатор показывает, что до точки прибытия у тебя одна тысяча триста километров, — это настраивает на определённый лад. Проще говоря, кажется, что ты уже устал, а пилить ещё слишком много.

Тогда надо гнать первые триста километров, отвлекая себя незатейливыми мыслями и музыкой, музыкой, музыкой, потом, в какой-то момент, опустишь глаза — а там уже 1001, потом раз — и 999 км до места, а это уже совсем другая история, это уже обозримо. Меньше тысячи осталось!

Дальше я делал так. Дожидался, когда появлялась, скажем, цифра 798, и говорил себе: о, семьсот километров с копейками — чего тут, даже не о чем волноваться. И так каждую сотню.

Забыл ещё одно развлечение: заправка. В дороге пару раз заправлялся. Пока мне заливали дизель: “До полного, под завязочку!” — и горсть мелочи за работу заправщику у колонки, я нарезал круг по магазинчику при заправке, выбирая себе всякую всячину: фисташки, шоколад, самый крепкий кофе, мороженое, сладкую воду, минералку с газом, минералку без газа — получалось дорого, но разнообразно. Сигареты, конечно.

Всё это вываливалось на пустующее правое сиденье. Я тут же стартовал, взбодрившись на ночном сквознячке, — и, о радость копошенья и перебирания! — начинал себя забавлять и радовать: глоток кофе, глоток лимонада, мороженое, мороженое с фисташкой, ещё кофе, ещё лимонада, ещё пару

фисташек, но очень удобно есть за рулём, но мы опытные ребята, мы всё умеем, сейчас я ещё закурю, и вот уже курю, только стеклом опушу, — нет, так слишком сильно дует, пепел разлетается перед глазами, — а вот уже нормально: стряхиваешь, выдувает, красиво.

Ещё глоток кофейку.

Километров на двести хватит подзарядки.

Потом начинало светать. Некоторое время я оставался почти один на трассе. На обочине попадались вереницы недвижимо застывших фур. Жёлтая, мигающая реклама, зазывающая поспать в дешёвые отели и поесть в дешёвые кафе, теряла яркость.

Иногда я проезжал малоинтересные городки с редкими горящими окнами. Вы пьёте воду на кухне, а я еду на войну.

Пару раз, не больше, чувствовал некое оцепенение во всём теле — уже третью ночь совсем не сплю толком с этими переездами и перелётами — и всё-таки делал привал.

Там, уже ближе к Ростову, были места, мной облюбованные.

Решительно сворачивал с трассы, парковался, почти вываливался, не в силах собраться, из машины, шёл, с трудом, по частям, собирая своё тело воедино, будил тётку, двавшую в подсобной комнатке под одеялом (всё было видно в раскрытую дверь помещения за стойкой ресепшен), выдавал ей четыре тысячи за ночь и направлялся в свою комнату, вяло играя на пальце ключом с разболтанной провололочкой кольца.

В комнате было две кровати и две тумбочки, стол у зеркала и телевизор.

Сбрасывал свои вещи на стол, доставал ноут, некоторое время читал пришедшие мне письма, стараясь не отвечать: потом, потом, хотя никакого “потом”, как правило, не случалось, так и висят сотни неотвеченных, простите; просматривал донецкие новости: не вошёл ли супостат в пределы моего родного города? Нет, не вошёл... Ну, можно поспать.

И вдруг на полузакрытом ноутбуке с легчайшим звоном пришло ещё одно письмо. Подумал и открыл.

Писал человек даже не из прошлого, а из позапрошлого: мы не виделись, кажется, двадцать лет. Это был Костик, Костян, со звучной немецкой фамилией, мы когда-то вместе наведывались на территорию чеченской республики, совсем молодые, в разгрузках, с автоматами, явно предназначенные если не для вечной жизни, то хотя бы для половины вечной жизни. У Кости до этого уже были другие командировки, в другие горячие точки, он был восхитительный боец — всегда весёлый, хохочущий, непрестанно, но, в сущности, по-доброму стебающий всё вокруг; яркий, глазастый, белозубый, стриженный бобриком, стрелок, каких поискать, рукопашник ой-ёй какой, и всё такое, всё такое. У нас с ним были прекрасные отношения. Мы оба любили, чтоб всегда было смешно. Единственно, что за разудалый его характер ему не давали даже должности младшего командира, я же, будучи едва ли сопоставим с ним хоть по опыту, хоть по выслуге, стал командиром отделения, потом замкомвзвода, и до взводного оставалось недалеко (я сам не очень торопился: мне было 23 года), а тот, будучи старше меня лет на пять, всё ходил бойцом; зато весь в медалях и — старший прапорщик. Между прочим, до старшего прапорщика иной раз путь куда длинней, чем до летёхи.

Брат, писал он, возьми меня к себе в батальон. Помнишь, как мы куролесили в Грозном? А теперь я спиваюсь, мне тошно, мне невыносимо. Я точно сопьюсь.

У меня на такие просьбы ответ всегда был один и тот же: на войну надо ехать от счастья, а если спиваешься — чего там делать, можно и дома спиваться. Нет, Кость, написал я, тебе не надо, не возьму.

Он, показалось, безропотно принял ответ, только ещё раз поскрёбся: подумай, брат, у меня навыки, я многое ещё могу.

Я не ответил. Не пообещал подумать. Мысленно сосчитал, сколько ему? А под пятьдесят уже — куда, какая служба...

Выключил ночник, лёг спать.

Спал два часа.



Встал, умыл морду, оделся, подхватил ноут, бросил ключ несколько озадаченной дежурной на ресепшен — снят номер на два часа? — и запрыгнул в свою машину.

Время не ждёт, надо успеть на свои похороны, нехорошо опаздывать.

Некоторое время медленно ехал без музыки.

Явились эти, слышанные вчера слова: “Я чувствую то же самое”.

Они воспринимались, как музыкальная фраза, — и звучали. За ними таилось великое количество предчувствий и смыслов.

Сидя в машине и выруливая на трассу, я повторил их вслух.

Определённо, это музыка. Что это за песня, откуда она, кто её поёт?

Спустя несколько часов заехал на российский пограничный пункт в отличном настроении.

— Куда направляетесь?

— В гости. Погостить.

— Военный?

— Нет, что вы.

Два здоровых бугая, погранец и таможенник, отошли от моей машины и что-то обсуждали с минутой.

Потом один из них со вполне добродушным и чуть заговорщическим видом подошёл снова.

— Слушай, мы никому не скажем, это просто для нас. Мы пари заключили — капитан или майор?

— Майор, — ухмыльнулся я.

— А! Я выиграл! — закричал этот бугай и тут же направился ко второму. — Гони сигареты. Початая пачка! Как “нет целой”? Уговор!

Они оба хохотали.

На донецкой таможне я честно пристроился в очередь за двумя женщинами, но меня, как всегда, заметили таможенники, тут же подошли, тихо попросили документы. Я отдал.

— Вам не стыдно? — спросила меня одна из женщин. Такого со мной ещё не было. Вторая ей что-то шептала, успокаивая.

— Да нет, не очень, — ответил я искренне, подумав.

— Оно и видно, — заметила она.

— Послушайте, — сказал я. — Я честно встал за вами в очередь, хотя вообще мог этого не делать. У меня попросили документы. Не могу же я сказать: “Нет, я не дам документы!” Правда? Они побежали меня оформлять в другое окно, я вам даже не мешаю. Вон, подавайте паспорта, вас просят уже.

— Стыда нет, — упрямо повторила она. Ну, нет и нет. Где взять, если нет.

Сел в машину. Прогудела СМСка. Кто тут нас ищет, интересно, с утра пораньше. Ещё есть время посмотреть и даже ответить: дальше российский оператор опять пропадёт пропадом.

“Всё хорошо?” — была первая СМС.

Ответил утвердительно.

“Приезжай ещё”, — гласила вторая.

Желание было спрятать мобильный куда-то подальше, а то вдруг сейчас кто-нибудь подойдёт, громко спросит: “Ну-ка покажи, что там у тебя? Быстро давай сюда, сказали тебе!”

— Привет, ассасины! — поприветствовал я встречавших меня бойцов: Араб на своей машине и моя личка. Я ещё часов десять назад придумал, что именно так с ними поздравляюсь.

Они все засмеялись. Мы обнимались так радостно, будто не виделись неделю, две, три. А мы не виделись — полтора дня.

В отличие от меня, они откуда-то знали это слово: ассасины.

“Надо же, — размышлял я по дороге, любуясь на прозрачную, тишайшую, нежнейшую донецкую погоду, — все мои друзья — убийцы; что-то я никогда об этом не задумывался”.

...убийцы, а я не знаю лучше людей.

Обогнал Араба, чисто из форса. Он отстал, потом свернул на какую-то боковую, мне не известную. Минут через двадцать пять я увидел его впереди. Вот сучонок! Вот ведь... И всегда он так. Никакого почтения к старикам.

По дороге, из последних сил, меня догнала третья СМС: “Посмотри в почте письмо. Тебе там прислала кое-что”.

И на этих словах российский мобильный оператор вырубился.

В нашем съёмном домике меня ждал любовно накрытый стол: жареное мясо, сыры, колбасы, помидоры, зелень, — видно, по дороге отписались Злому, чтоб выставил как раз в ту минуту, когда я буду заходить, — а также разнообразное пиво и бутылка коньяка, уже открытая.

Наша компания тут же, гомоня, уселась жрать; мы с Арабом дали по коньяку: я — чтоб не спать текущий день, Араб — за компанию. Минут через семь не вытерпел, полез за ноутом, раскрыл, забрался в почту: там была её фотография.

На фоне храма, в платке, глаза распахнуты, губы распахнуты.

Потратил три минуты — напоминали: “Захар, стынет!”, — сделал коллаж из трёх фотографий: с одной стороны — Моника, с которой ужинал, Беллуччи; посередине эта — у храма, распахнутая; с другой стороны присоседил первую попавшуюся “Мисс мира”, латиноамериканка какая-то с огромным ртом.

Показал бойцам на предмет: кто самая красивая?

Каждый, кто приветал, жуя, со стула посмотреть, — ткнул по очереди пальцем в середину. Только не ставший завтракать и куривший в уголке Злой не подошёл, ему было всё равно. Тайсон же, подумав, добавил: “...эта Джессика тоже ничё, — и указал на Моника, — где-то я её видел”. (Всякую молодую, привлекательную женщину бойцы называли “Джессика”. “Смотри, Джессики идут”. Происхождение этого термина осталось мне не известным.)

Араб, хрустнув огурцом, спросил подозрительно, разглядывая ту, что посередине: “А кто это?” Ответил: “Инопланетянка”. И сразу тему перевёл: ну, какие новости, чего молчим-то, целый день меня не было, говорите уже.

Араб, обыденно:

— У нас двухсотый.

Я перестал жевать.

— Кто? В бою?

— В том-то и дело, что нет. Аист унёс.

Араб назвал позывной, — не молодой, но и не старый, мой, думаю, ровесник, молчун, неплохой боец, упёртый в какой-то своей тайной правоте, о которой никому ничего не сообщал.

Налив себе сока в стакан, Араб дорассказал:

— На позициях опять всю ночь кошмарили друг друга. Утром сменились. По дороге ни на что не жаловался. Зашёл в комнату на раскладе, сделал шаг — и рухнул. Потрогали: готов. Сердце встало.

Я поискал подходящую реакцию внутри. Вместо ответа вдруг удалил все три фотографии, которые только что показывал товарищам.

Нечего дозревающим мертвецам живых людей беспокоить.

\* \* \*

Последний раз мы сидели на берегу, у ставка, — Батя, Саша Казак, я... Охрана — по периметру. Кажется, это был уже август. (Надо собраться, расшевелить память — что было, чего не было, в какой последовательности, кто крайний, за кем занимать, я последний.) Батя рассказывал, смеясь: “Мне жена сегодня с утра говорит: “Иди, вышей, забудь про все дела. Посиди с друзьями, отдохни как следует. Чтоб не видела тебя до полуночи””.

Он сам приготовил плов; когда я приехал, ароматный чан уже дымился.

Привезли обученную девушку с кальяном.

Разлили мы, как обычно, на двоих, но вдруг Саша Казак, впервые на моей памяти, взял и махнул целую рюмочку.

Я проследил глазами происходящее: о как!

— Что-то случилось? — спросил негромко.

— Сейчас Батя расскажет.

Батя как раз накладывал нам плов. Ему очень хотелось, чтобы плов понравился, он несколько раз спросил: как, не переварен ли, не переперчен, овощи хороши? Батя отлично готовил. Ему нравилось жить, готовить, стрелять, побеждать, смеяться, пить водку.

Мы быстро выпили первую бутылку, оставшись трезвыми, нам принесли вторую, холодную. Пока ели плов, уполовинили и её.

Точно помню: Батя говорил ласковый тост за жён, — он что-то рассказывал про свою, забавное, — я тоже ответил личной историей; он заливался, довольный, чокались, стоя пили до дна.

“Кто мы без них? — повторил Захарченко. — Кто бы нас ещё терпел?..”

Установили кальян. Я никогда в жизни не пробовал курить кальян и не очень хотел. Батя всё приставал к Сашке Казаку: “Ну, попробуй, ну, попробуй!” — тот тоже отказывался, но поддался на уговоры, затянулся; потом и я — все с одного мундштука, вроде как побратались. Батя хохотал: “Ну как? Как?” — ему хотелось, чтоб всем нравилось, чтоб все ликовали.

У всех был праздник.

Сначала шумели. Потом тихо смотрели на воду.

Батя вспомнил: на том берегу ведь стояли в своё время ВСУ. Как забирала позиции: ночью, он даже время назвал точное — в 4:30, на лодках, беззвучно, поплыли на тот берег, там всё проспали, заметили гостей только метрах в трёх от берега — бах! пах! тара-бах! — нашего несчастного неприятеля перерезали, выдавили, выбили.

— Мы, — говорю, — за Сосновкой озеро нашли, с той стороны их офицеры рыбку выплывают на лодочке половить. С нашего берега — верней, с нейтральной зоны — можно их накрыть, расстояние позволяет...

— Ну? — сразу заинтересовался Батя.

— Целый день на пузе пролежали впустую. Как чуют. Не приезжают.

— Надо, надо, дожидайтесь, — оживился Батя. — Мало им рыбы в Днепре, так что нечего. У нас раки голодные, еле ползают. Ещё раз сходите. Что за озеро?

Я назвал, он кивнул.

Наконец, настало время серьёзного разговора.

— Короче, Захар, ты был прав, — сказал Батя. — Москва начала давить. Требование: убрать Ташкента и все его дела передать.

— Кому?

— Найдут кому. Одни и те же сюда лезут который год. Сейчас Ташкент придет. — Глава обернулся к Сашке Казаку. — Сказать ему про новости, нет?

Казак сыграл бровями — он всегда так делал, когда думал. Ответил: да, сказать. Обязательно надо сказать.

Глава и сам, кажется, скрывать ничего не собирался — а так, сверял ощущения. Если и не сказал бы Ташкенту, то лишь для того, чтоб побережь ему нервы, чтоб тот не дёргался, работал, пока Батя не придумает, как выплыть.

— Трамп, — Батя имел в виду своего министра внутренней политики, — уже в Москву поехал: на случай моего увольнения, искать новую крышу. Пушилин вообще из Москвы не вылезает...

По законам жанра, Батя должен был прошептать: “...а они у меня вот здесь — в кулаке!” — но ничего такого не говорил, только удивлённо крутил русой башкой. Мне почему-то явственно представилось, что вместо Москвы, пока меня там не было, образовалась ставка Золотой Орды: сидят на коврах, рисуют ярлыки на княжение, разливают в подходящую посуду отравленный кумыс, вызывают визиря — тот, с поклоном, бесшумно поднимая полог, является пред очи вызвавшего...

Подъехала машина: да, Ташкент.

Обнялись; он уселся: плова? — не, не хочу! — водки? — отрицательно мотнул большой головой. Он будто чувствовал что-то.

— Как дела? — спросил. — Что в Москве? — и вечную свою зубочистку приладил в зубы (я ни разу не помню, чтоб он ел при мне, — он вообще ничего не ел, кажется, сразу пользовался зубочисткой).

Батя ему коротко всё изложил. Они начали обмениваться мнениями, как всё исправить, — и, неизбежно, ко мне: “Ты не узнал насчёт встречи?”

У меня был козырь в рукаве. Я его достал.

— Узнал, — говорю. — Я встречу. Надеюсь, что всё получится. Я попрошу его, чтоб тебя приняли.

— Не слетит твоя встреча? — переспросил Батя. — Высока вероятность?

— Думаю, да. Думаю, высока. Я просто не решил, о чём ему сказать ещё, помимо нашей темы. Я же не могу прийти на встречу и попросить только за тебя. Он скажет: а чего приходил-то?.. Но я подумаю и придумаю.

Батя кивнул.

Мы ещё сидели с полчаса, и тут охрана передала: никем не ожидаемая, сюрпризом прибыла генеральская делегация из Москвы — прозвучало наименование одной из государственных спецслужб, имя которой само по себе должно было наводить ватный ужас на всякого, пошедшего ей поперёк.

— Пять минут до подъезда! — доложила охрана.

— Надо уехать, чтоб вас тут не видели, — сказал Батя; он был спокоен.

Его явно хотели взять нахрапом.

Он и так не захмелел ни на миг, но разом стал вообще прозрачен: собранный, ясный взгляд и лёгкая, как перед дракой, бледность на щеках.

— Банный комплекс в километре отсюда, там пересидим, — сказал Ташкент Казаку и мне.

В минуту мы сорвались, каждый на своей чёрной, внедорожной, и вскоре уже расселись в приятном помещении за деревянным столом. Ташкент неожиданно заказал водки у прибежавшего служащего.

(Кажется, уезжая, мы даже не попрощались с Батей: не было никаких рукопожатий, ничего такого. Больше я его не видел, и никогда не увижу).

Ташкент и Казак гадали о происходящем, я тем временем думал только об одном: император кивнул головой или нет? По поводу того, что сейчас происходит. Потому что если император кивнул своим, заявившимся с очередным критическим докладом визирям: да, делайте, да, работайте, да, надо навести там порядок, то шансов никаких нет. Они приехали с большими садовыми ножницами и отстригут здесь любые мешающие виду конечности: головы, уши, языки, прочее.

Был шанс, что император ещё не кивнул, но уставшие ждать кивка спецслужбы решили сыграть наудачу: заявиться и продавить свои кадровые решения, ссылаясь на волю Москвы, в то время как никакой такой воли явлено не было. Надо было только суметь догадаться по незримым признакам: так ли это. Я сказал об этом вслух.

Ташкент — я видел это впервые за несколько лет — выпил водки. Раньше я думал, что ему противопоказан этот напиток, — что-то личное или со здоровьем, — но нет, он опрокидывал одну за другой, ещё наливал, но оставался безупречно трезвым, изъяснялся предельно чётко и вдумчиво. И Сашка Казак тоже продолжил ту, первую на моей памяти, рюмку, выпитую ещё у ставка.

Пил он, правда, через раз, и понемножку, но тем не менее.

“Кажется, что-то будет”, — подумал я спокойно, с некоторым, совсем не трагическим предчувствием и вышел покурить на улицу, хотя Казак дымил в помещении и мне предложил следовать его примеру.

Просто хотелось подышать. Пока меня не было, кому-то из моих больших товарищей пришла, как им показалось, замечательная идея. Казак мне её изложил в нескольких словах, вот они: давай мы тебя назначим главным.

— Повтори ещё раз, — улыбнулся я. — Мне кажется, ты шутишь.

— Нет, мы не шутим, — сказал Казак. — Смотри: нам нужно выиграть время. Верно? Исходя из твоих же слов. Завтра тебя — мы придумаем, какая именно общественная организация лучше подходит, — выдвинут на должность премьера Донецкой народной республики.

— У нас же Захарченко премьер.

Ничего, это неважно, пояснили мне. Важно, что ты станешь — вместо Ташкента — вторым человеком в республике. Даже большим по статусу, чем он. Почти равным Главе. Это собьёт приехавшим всю игру. Они ни за что не поверят, что мы это сделали сами. Они будут уверены, что решение приняла одна из башен Кремля. Им нужно будет выяснять, какая именно. Естественно, что они тебя не тронут. Случится примерно та же самая ситуация, что имела место, когда ты здесь создал батальон. Тогда три дня никто не мог понять, чьё это решение. Потом, как мы догадываемся, кто-то зашёл с вопросом к императору, тот в ответ на услышанную новость пожал плечами: “Поехал и поехал, его дело”, — и тебя легализовали.

— Едва ли он так же отреагирует в этот раз, — сказал я.

Никто не знает, как он отреагирует, ответили мне.

В сущности, всё это меня развеселило. Пока Захарченко о чём-то разговаривал с объявившимися генералами из спецслужб, мои товарищи сделали несколько звонков и подготовили всё к завтрашнему решению.

“Нормально танцует судьба”, — думал я, усмехаясь над самим собой и относясь к происходящему с высокой степенью безучастности.

Власть меня не волновала нисколько.

Зато — какая чудная забава предстоит!

Я понимал, что это ничего не изменит. Что с Россией такие шутки не пройдут. Но я готов был доиграть. Так, за компанию, отправляются в плавание люди, твёрдо осознающие, что впереди льды — и все погибнут. Одна разница — я откуда-то знал: их всех, если что, утопят — в фигуральном смысле, но если что — и в буквальном; а меня ещё некоторое время — нет. Не то чтоб нужен хоть кому-то — просто ещё не докрутилась моя ниточка на прялке; я её чувствовал — щекотку этой нитки — где-то под ложечкой. Пока был лёгкий натяг: чуть-чуть оставалось.

— Ну, вы тогда сообщите мне новости? — сказал я через часок. — Поеду мундир почищу.

Мне просто надоело пить водку и ничего при этом не испытывать. Кажется, так кончается здоровье: не в тот момент, когда раз за разом ты резко, с одного запаха, с полрюмки пьянеешь, а когда вовсе перестаёшь чувствовать присутствие, вкус, воздействие алкоголя, употребляя его ежедневно по небольшому ведру.

Мы добродушно попрощались, и я пошёл к своей машине. Сорвал травку по пути. Уж потеряла вкус, хотя вроде бы не было изнуряющей жары. Пожевал, сплюнул.

— Поздравляю, бойцы, — сказал, сев за руль. — Я возглавлю нашу республику. Можете разделить между собой министерства или учредить новые.

— Ур-ра, ур-ра, ура-а-а-а! — шёпотом, но слаженно прокричала личка.

— Как только вступлю в должность — а это случится уже завтра утром, — введу диктатуру, легализую пиратство, браконьерство на территории соседних стран и дуэли, вплоть до артиллерийских. По поводу дуэлей: если товарищ в опасности, допускается размещение дружеского снайпера в кустах. Женщин в течение суток соберём и выслем за пределы республики: жить будем по принципу Запорожской Сечи. Донецкие рестораны официально переименую в полевые кухни армии ДНР. На второй день объявим войну всем странам на букву... на букву-у-у... Ладно, вместе, с утра, решим, на какую букву. Ничего не забыл?

\* \* \*

— Премьер донецкий, и прочая, и прочая, вставай, вставай, тебя ждут великие дела! — ласково попросил сам себя утром.

Надо бы Злому сказать, чтоб так меня будил.

С утра и до полудня, проходя мимо зеркала, я по-прежнему видел себя в парадном мундире — и хмыкал над собой вслух.

Лёг спать без пяти минут главой республики и проснулся в том же качестве: тоже опыт. “Как-то я правил страной, но всё проспал”.

Уже в первом часу позвонил Сашка Казак: Захар, всё вроде бы отменяется; в любом случае, на сегодня эту идею отложим; впрочем, кто знает, может, погода переменится — однако весь вчерашний вечер и всю ночь Батя отстаивал свою независимость и Ташкента заодно, и не просто потому, что на Ташкента слишком многое было завязано, а из принципа; и, кажется, отстоял.

(...Или утром на него, как в последний раз, посмотрели внимательно, пожали руку, а то даже и обнялись с ним, но по возвращении в Москву донецкие гости сообщили, если было кому сообщить: “Глухо...” Так могло быть?).

Я укатил на Сосновку: выбирать между очередной рыбалкой, верней, присмотром за чужой рыбалкой и работой со 120-го. Выбрал последнее. Отработали, съехали с места, чтоб не выловить ответку; сидели в Сосновке под разлапистым деревом, на скамеечке, пили чай из ужасно горячих кружек, покуривали, посматривали на небо: может, и сюда прилетит?

Раздался иной шум: подъезжающего на высоких скоростях транспорта.

По дороге мимо нас прогромыхали четыре красивые незнакомые машины. Чья-то большая незнакомая башка с неудовольствием на меня посмотрела с задних сидений; я подмигнул башке.

Подождали: может, вернется?

Нет.

Ещё кружку чаю — и уехал в Донецк.

Араб вечером рассказывает по телефону: “Ну да, явилась через час проверка, эти самые, на четырёх машинах; спрашивали, кто стрелял, а откуда мы знаем, кто стрелял?”

“Ты не стрелял?” — интересуется Араб в трубке.

“Вот ты скажешь тоже, — говорю. — Приходи лучше коньяк пить, что-то мне тошно на душе, даже коньяка не хочу, хочу только, чтоб его не было в моём доме больше”.

Ладно, говорит, помогу.

В ту ночь у нас на передке загорелся центральный блиндаж: надёжный, крепкий, стольких людей спас. Горел всю ночь. Заодно с той стороны обстреливали, чтоб наши ничего не тушили, а тихо грелись у костерка.

Да и чем тушить — из котелков? Водопровода нет, пожарных не вызовешь, вода — родник — за пятьсот метров, не набегаешься.

Блиндаж выгорел. Утром я в Сосновку вернулся, бойцы говорят, что попали из чего-то такого особенного — подожгли. “Из чего?” — спрашиваю. Никто не знает.

В обед наш батальон полковым приказом сняли с передка. Ротировали нежданно-негаданно, одним звонком, да и то не мне и даже не комбату, а начальнику штаба, Арабу. Тот взбеленился, заорал: “А чего вы мне звоните? Я что, комбат? Звоните комбату! Хотите, Захару передам трубку — с ним поговорите!” Но с той стороны трубку тут же положили.

Решили с Томичом: упираться не станем, съедем и отсюда.

Хотя каждый новый передок — это ж такая работа: столько денег в него вкладывается, труда; в каждый новый кусок земли вживаешься, врастаешь, корни пускаешь там.

И тут: съезжайте.

Ну, ладно.

Зашла другая рота с нашего полка.

Через час уже звонят, опять Арабу: “А чего у вас блиндаж сгорел?”

Он: “Здесь вообще-то война, такое случается”.

Там: “А чего вы сдали нам позиции в таком виде?”

Он: “Ну, так вы оставьте нам ещё на недельку их — сдадим с блиндажом”.

Те: “Нет, спасибо”.

Он: “Ну, как хотите”.

Зашедшая рота начала разбирать чёрные брёвна выгоревшего блиндажа — бойцы с лопатами вылезли на бровку окна, давай лопатить, в итоге — два двухсотых за одну минуту: снайпер.

Мы полтора месяца там проторчали: семь раненых, четверо — тяжело, восьмой вот, даже не раненый, умер прямо в рас포лаге, как его засчитывать?

С чего только не били по нам — достаточно всего одного попадания, чтоб двух, трёх, пятерых, как это называлось в Донецке, размотать, — и ничего, отвергелись: дисциплина, порядок, и, конечно, Господь присмотрел — даровал то, что именуется везеньем, а это — вполне чудеса.

А тут — вот так.

Подмывает сказать: на всё воля Божья, но такое стоит говорить, только когда тебе самому голову отстрелят. Сидишь такой, смотришь на мир сквозь дыру во лбу, обозрение стало — до горизонта видно, и говоришь: на всё воля Божья. И мозги свои с цветка у твоего колена, шелбаном — щ-щёлк!

Неделю бойцы помыкались на располаге; отмылись хоть.

На вторую вызывает Саша Казак: “Заезжай в условленное место”: в фойе всё той же центральной гостиницы.

Как и ожидал, сидят Казак (чашка кофе) и Ташкент (зубочистка).

Разговор короткий, как предчувствовал: “Ну, ты что, когда к императору? Чего-то ты, знаешь, засиделся на фронте, товарищ”.

Посмеялись. Я говорю: ладно, я поеду, в отпуск заодно схожу, а то устал, но, между прочим, товарищ Ташкент, нет ли у тебя, случаем, завалившегося какого передка, чтоб мне Батю с этим вопросом лишний раз не тревожить.

Ташкент: “Отчего же нет, есть, поехали завтра смотреть новые позиции для тебя”.

Так мы попали на Стылу и в её окрестности. Позиций там было — на две роты сразу; раскиданы, как после бури. Минус в том, что бензина кататься друг до друга — не напасёшься, серьёзный расход. Ну, и согласование действий в сложный момент — не самое простое. Чтоб элементарно произвести совещание ротных, разведки и миномётчиков, всем надо километров пять в тыл вилюжинами добираться.

Рота Дока расположилась ближе всего к Стыле, заняв вторую линию обороны; впереди стояли корпусные, но меж подразделениями двух разных бригад имелся прогал, через него шла тишайшая, пыльная, как из песни, дорога. В случае удачного наступления и прорыва наш несчастный неприятель вылез бы неизбежно именно на эту дорогу, и тут мы бы его привелили, прямо в бочину.

Другая рота получила длинный угол передка, я и туда заехал осмотреться; устал, пока шёл по окопам, а бойцы тут же начали дальше рыть: к нашему несчастному неприятелю теперь можно было приближаться только таким способом — создавая бесконечные туннели. Неделю копаешь — ещё на пятнадцать метров становишься ближе к родному и ненаглядному Киеву, по которому мы так искренне скучаем.

Томич и Араб сразу же пошли к нашим корпусным соседям: знакомиться, дружитья, предлагать свою помощь, просить у них чего-нибудь; в общем, и здесь всё заново.

Корпусные нам, от своих щедрот, ещё два небольших участка задалили: вот, говорят, у нас народа не хватает, а там дыры, хоть шары закатывай; займёте?

Мы: “Чего ж не занять, покажите на карте, где? — А вот...” И вот.

Араб попросил сопровождающего, чтоб свои хотя бы не накрыли, они говорят: своих предупредим, не накроют, напротив, всё покажут. Араб к ним подъехал, ему: вон, вдоль балки, даже блиндажи старые остались; валяйте, обживайтесь, там не заминировано.

— И можно доехать?

— А чего нет. Конечно.

Араб и поехал — на своей, красивой, красной масти. По нему как начал херачить наш несчастный неприятель — не попал разве что от удивления.

Взбивая пыльные облака, Араб развернулся — и назад.

— Спасибо, — говорит, — за совет, — тем, кто ему совет дал.

Те: “Да, нехорошо получилось. Но мы тебя, между прочим, прикрывали. Знаешь, как прикрывали, — ой, как!”

Бойцы наши заходили туда уже вечером, тайком, шепотком, ползком. Мы с Томичом поехали на другой участок, мне Араб успел отзвониться: так, мол, и так, еле колёса унёс, ты тоже поаккуратнее. Я благоразумно оставил машину, дошли пешочком — из посадки посмотрели на предоставленное нам место. А что — интересно: на самом острие, едва не нос к носу с той стороной. Камнем не добросишь, но если из рогатки — то вполне.

Спустя полчаса на вверенные позиции отправились наши, в количестве половины отделения — обживатьсь. Пойти, думаю, что ли, переночевать на природе напоследок. Лето, воздух, приволье. Потянулся руками к солнцу, похрустел костями, сплюнул и побёрл обратно к своему “круизёру”. Там у меня открытая, уполовиненная бутылка коньяка стояла — прямо в подстаканнике между водительским и пассажирским сиденьем; нагрелась уже на жару; я из неё с неприязнью отхлёбывал.

На следующее утро бойцы с этого участка докладывают: ночью к ним в окоп самую малость не доползли солдаты нашего несчастного неприятеля, — их разведка, как оборзевшие кроты, чувствовали пространство своим, нарезали круги, принюхивались, видимо, днём выпасли наши передвижения.

Чтоб не палить себя раньше времени, бойцы стрелять в ночных гостей не стали. Ещё приползут.

\* \* \*

Сказал хозяйке, что жить больше не буду, и оставил свой гостевой домик — без сожаления, не оглянувшись.

Собачка так и лаяла вослед, тварь.

Перебрался на “Прагу”, перевёз туда свои вещи, свалил кое-как: “Калаш”, пять пистолетов, два бронезилета, саблю (Батя подарил), клинок (Ташкент подарил), РПГ-9 (Казак подарил), несколько книг (ни одной не прочёл за три года, вообще читать разучился), форму на все времена года.

Поехал отобедать с личкой, вернулся обратно — всё развешано на стенах: пистолеты, сабля, клинок; полы пропылесосили, все вещи в шкафу на вешалках, на кровати — мягкая игрушка развалилась, на зеркале тоже — обезьянка, но повешенная, за шею. На груди у обезьянки записка: “Захар, мы знаем, ты хочешь нас оставить. Не уезжай”.

Эта Араб позабавился. Он жил в соседней комнате.

Что я мог сделать в ответ?

Мы сели у него, пили, господи прости, воду, и я что-то разглагольствовал про то, что события начали убыстряться, но перед нами не то ускорение, которого я ждал: когда-то я заезжал сюда, чтоб праздновать следующий день рождения в Славянске, а я справляю дни рождения на одной и той же линии соприкосновения, просто в разных местах.

Будет всё то же самое, из месяца в месяц. Перестрелки, травмы, похороны, закупки оружия и б/к, перепалки, новые инвалиды, бомбёжки, похороны, и ещё тысяча пятнадцать сигарет и литров семьсот коньяка. Однажды вернусь домой — у меня усатые сыновья, дочери беременные и каждая далеко не первым ребёнком. Внуки ползают.

Араб слушал, молчал. Ему некуда было уезжать. А то бы он тоже уехал.

Зашёл Томич: Араб нашептал ему, что я уезжаю по делам, а возвращаться не очень хочу. Томич один из нас в Россию не хотел совсем: у него больше ничего не было там. В России он был никто, а здесь стал комбат.

Томич попросил:

— Только не увольняйся. Без тебя нас свои же сожрут — все те, кто не могут простить тебе дружбу с Батей.

— Скажу, что уволюсь. Объявлю на людях. Проверю, что будет. А сам уйду в отпуск. На месяц-полтора. Потом явлюсь обратно. Объявлю, что пошутил.

Договорились на этом.

(До сих пор я в армии ДНР должен числиться: могу приехать за своей зарплатой, напишу объяснительную, почему отсутствовал многие месяцы: “...задумался о сущем, был раздавлен осознанным”.)



В последнюю ночь ворочался; открыл окно, сел в кресло, выкурил три сигареты, опять лёг, еле заснул.

Сон приснился: режиссируют почему-то сразу Эмир и Никита Сергеевич, оба с усами, оба жестикулируют, а я посередине — кого-то играю, но кого — не знаю и не стыжусь этого. Хлопаю глазами, перетаптываюсь, делаю лицо.

И Батя тут же. Батя улыбается. Батя улыбается светлей всех.

Потом все куда-то разом делись, погасли операторские огни, случилось естественное затемнение, а я оказался (верней, остался — потому что там всё и происходило) на вокзале.

В руках у меня — книга записанных в рай. Она без названия, но, как во сне бывает, я откуда-то знаю, что это такое.

Ищу там себя, тороплюсь, вожу пальцем по бумаге.

Длиннейший перечень фамилий на нужную мне букву — стада мелким шрифтом набранных людей: ФИО — полужирным, а дальше какие-то дурацкие сокращения, ни одного слова целиком. А меня нет. Может, опечатались?

Волнами подступает сильнейшее волнение, руки начинают дрожать.

Побежал с этой книжкой к окошечку — к билетной кассе, — пытаюсь засунуть книгу: вот, взгляните, там ошибка, я отсутствую.

— И что? — спрашивает женщина за стеклом.

— Если меня там нет, то где я? Сами посудите! — И всё пытаюсь книжку засунуть. — Да что же у вас такое окошко маленькое! Давайте я к стеклу книгу прижму! — раскрываю на нужной букве (у меня какая-то сумка в руке, и ещё паспорт вроде бы, и водительские права, и корочки советника, и удостоверение заместителя командира батальона спецназа, всё мешает, неудобно, что-то валится на пол, под ноги, но неважно, сейчас книга важнее всего). — Вот, видите? — говорю. — Нет меня на этой странице! Смотрите, — перелистываю; чёрт, так неудобно листать, опять прижимаю книгу к стеклу, сам прилипаю лбом сверху, — видите? Читайте, читайте! Меня там тоже нет!

— И что? — спрашивает женщина за стеклом.

— Вы же должны разыскать. Иначе как я поеду? Меня даже не посадят на поезд. Быть может, я прошёл под псевдонимом? Или есть какая-то отдельная книга, где, не знаю, по званиям, должностям люди собраны. Должна быть такая книга, правильно?

— Такой книги нет. Проходите. Видите, очередь. У людей тоже вопросы.

— Что значит “проходите!”, что значит “вопросы”? А это не вопрос? Хотите, я другие страницы покажу? Как не хотите, вот, смотрите. Чёрт, неудобно же, говорю, листать и вам показывать. Может, вам плохо видно из-за стекла? Давайте я вам по листку буду отрывать и засовывать.

Выдираю с хрустом листок с перечнем на свою букву — бумага тонкая, сэкономили; могли бы, в конце концов, на плотной бумаге такую книгу отпечатать, с портретами — а то вдруг полные однофамильцы, таких, между прочим, полно! — и туда ей, в окошко, листок, вдвое сложив, просовываю.

Она пытается помешать мне, выпихивает листок обратно, я с этой стороны тоже мешаю ей, одновременно ловко (приноровился!) обрываю следующий листок — и туда же, ей, как в почтовый ящик, и ещё одну оборванную страницу следом. Неопрятные бумаги слетают ей на стол.

— Тут ещё тысяча страниц, — весело ору, — а меня нет!

Она аккуратно собирает листки со стола и кидает в невидимую мне урну.

— Тогда я всех разорву — пусть здесь валяются, под ногами! — пугаю её я и начинаю рвать листки, мять и разбрасывать.

— У нас ещё одна такая же книга есть, — говорит она бесстрастно.

— Ты сама-то там пропечатана, наверное? — кричу. — На какую букву? На “б”? На “с”? А то я гляжу, ты такая спокойная. Какая у тебя фамилия, быстро говори!

И здесь вдруг вижу, что на её бейджике ничего нет. Белое полотно. А с кем я тогда разговариваю?..

Донецкую таможенно проехал, как обычно, без проблем: полевой, выделенной для чиновников и вояк в больших офицерских званиях полосой.

Люди в длинной автомобильной очереди стояли справа — иной раз по пять, шесть, семь часов, — а едва начиналось обострение, очередь увеличивалась вдвое, а то и втрое, занимали уже с ночи. Дети, старики — ох...

Пешком было переходить куда выгодней; но если людям надо верхом?

Понятно было в первый год, что, пока всё вокруг грохочет и клокочет, не до лишних пропускных пунктов; их же обустроить надо, а тут киборги туда-сюда бродят боевыми колоннами; но, когда все киборги отползли, за следующие три года войны могли бы сподобиться, исхитриться, сделать между Успенской и Новоазовской погранзаствами хотя б ещё одну: чего людей так турсучить. А то мало они натерпелись...

И как иные смотрели на меня в этот раз, когда я проезжал мимо, меж встречной, на выезд, и попутной, на въезд, полосой! Что-то менялось в пространстве, раз такие взгляды хоть изредка, но стали ощущаться.

А чего мне было? Встать в общую очередь? “Мужики, меня тут Батя к императору послал, можно я с вами полсуеток потусуюсь, пирожков поем по пятнадцать рублей?..” Страшный русский вопрос: стоять ли в очереди? Ответ: я ради них жену бросил, детей оставил, голову носил вдоль и поперёк линии соприкосновения, а она стеклянная, её расколоть — только тронуть, а у меня в “Миротворце” (паскудный сайт, куда недобитые “зелёные братья” кучно сваливают тех, кого мечтают повесить) рейтинг, как у двухсотлетнего коньяка, а на “Злочинце” (ещё одно их воображаемое кладбище) я вообще в первой десятке врагов незалежности, — не устраивает их! Тебя никто не просил жену оставлять, детей бросать, голову носить, вставай в очередь.

Не встану... Так что — нет ответа.

Уже на российской стороне, из последнего хулиганства на вопрос погранца: “Военный?” — ответил: “Да, военный”, — мне тут же: “Пройдёте со мной”.

Завёл меня в отдельное здание, в отдельное помещение, там сидит человек в гражданской одежде: видный, с крепкими челюстями, лет тридцати трёх. Посмотрел на меня, потом на пограничника, и говорит ему: “Ты знаешь, кого ты привёл?” Тот в ответ: “Нет”. — “Ну, веди обратно”.

Я мысленно поблагодарил труженика российских спецслужб — в кои-то веки меня узнали на этой заставе в лицо.

На улице ещё двое в форме ко мне пристали, не унимаются: откройте капот, багажник, двери, мы посмотрим. Обычно сделают два торопливых полукруга около машины, бардачок распотрошишь, сумку для вида распахнишь, они для вида посмотрят, и — бывай. Но тут что-то пошло не так. Это подними, это поставь, кресло отодвинь, теперь задвинь до максимума, другое отодвинь, теперь задвинь до максимума, а задние кресла складываются? — складывай, теперь раскладывай, сумку вынеси вон на ту скамейку, всё из неё выложи, — всё выложил? — а это что? — скрепка? — а чего не выложил? — клади всё обратно. Багажник. Где инструменты. Открывай. Где насос? Покажи. Что за пакет? Вытряси. Всё вынимай из багажника и на асфальт, вот сюда.

(Если бы они так проверяли каждую машину — очередь никогда бы не кончилась. Она бы стояла ровно от таможни до площади Ленина в Донецке.)

Наконец, нашли то, что искали:

— Вон тот магазин мне подайте.

— Какой магазин? — я даже не понял.

— Под сиденьями предмет.

Я сидел в багажнике, как скворец: только что показывал им завалившиеся грязные тактические перчатки и выворачивал их наизнанку.

— Не вижу никакого предмета.

— Протяните руку. Вот туда. Да. Берите. — Протянул руку, что-то нащупал: чёрт, бляха-муха, мать вашу: реально магазин, полупустой.

Выпрыгнул на улицу.

— Так, — сказал пограничник бесстрашно. — Будем оформлять.

Я бросил магазин обратно в багажник и стоял, совершенно ошалевший.

“Охереть, — повторял мысленно. — Охереть. Просто охереть”.

Через минуту подошёл тот самый, из спецслужб, с крепкими челюстями:

— Ну, Захар Батькович? Как же так?

— Да я сам охерел, — говорю. — Я на этой машине тонну оружия перевёз. Попасться с полупустым магазином — вообще смешно.

Он отвёл меня в свой кабинет. Спрашиваю:

— У вас часто такое случается?

Он пожал плечами:

— Да постоянно.

— И что? Сажают?

— Периодически сажают, а как же.

Не, ну нормально: два года заниматься контрабандой, крышевать незаконные вооружённые формирования, создавать незаконные вооружённые формирования, стрелять по людям со всего подряд, покупать не ПМ со сбитыми номерами в лесу у озирающихся барыг, а пулемёты и миномёты, гранаты ящиками возить — и сесть за рожок.

— Как же так? — повторил искренне удивлённый чин. — Такой опытный человек.

Я подумал и набрал Злого. Так и так, рассказал в двух словах. Злой всегда быстро соображал. Злой молчал пятнадцать секунд, потом говорит:

— Захар, это подстава. Я вчера мыл машину. Мы всегда моем машину перед твоим выездом. Моем и пылесосим. Мойщики знают, что нужно проверять на предмет наличия боеприпасов. Они специально всё перерывают. Потом я сам смотрю. Под сиденьями я точно смотрел. Утром ты ездил до Казака, а потом вернулся к Арабу на “Прагу”. Ты не закрыл машину и на минуту забежал в штаб. Машина стояла в той зоне, где камеры не ловят, я тебе уже говорил, что лучше там не парковаться. Тебе точно подкинули магазин. У нас знали, что ты на Россию поехал. Кто-то из бойцов. Сто пудов подстава.

Я выслушал и отключился. Передал всё это чину с челюстями. Тот покивал головой, — мне показалось, что и сочувствующе и сокрушённо.

— Ладно, — сказал. — Подождите на улице.

Я ждал долго. Нашёл место, где можно курить, и курил там.

Мою машину обогнали тридцать машин, шедших следом. Вся очередь, которую я объехал слева. Специально ещё раз посмотрел, как их досматривают: ну, мягко говоря, не совсем так, как меня, да.

Пошёл спросить, где тот чин, что со мной разговаривал. Мне: он сменился, ждите на месте. Ну что, может, мне ещё года три ждать на новом месте? Начну с бойцами переписываться. Араб будет хорошие письма писать, Граф — добрые, Кубань — любимые молитвы, переписанные детским почерком. Тайсон, наверное, писать не умеет, Злой, думаю, тоже. Зато Шаман писал без единой ошибки и замечательно точно излагал — он дал бы фору многим нынешним беллетристам.

Такие меня мысли навели в те минуты.

Три года просижу, вернусь — война всё на том же месте, ничего не поменялось; наш батальон сменил сорок пятую по счёту позицию — старые бойцы уже могут водить пешие маршруты по всему Донбассу; разве что “трёхсотых” теперь у нас целая рота. И, пожалуй, отделение, а то и два “двухсотых”: отдельный угол на донецком кладбище, есть где посидеть-подумать по возвращении на тему того, что тюрьма — не худшее место на земле.

Наконец, ко мне подошёл человек, тоже в гражданке, но незнакомый.

— Позвоните Захарченко, объясните ситуацию, попросите помочь.

Тьфу. Стыд какой. Я никогда его ни о чём не просил. У меня не было никаких залётов за эти годы. И тут — такая фигня нелепая. Минут десять я думал. Ко мне опять подошли: позвонили?

— Ладно, — говорю, — сейчас.

Набрал личке Главы: доложите, что у меня такая-то ситуация. Задали пару вопросов, ок, доложим.

Через пять минут перезвонил: “Доложили?” Ответили: “Да, он в курсе”. Выкурил ещё пятнадцать сигарет, остался совсем без курева, сидел, плевался, злился и тосковал.

Наконец, явились трое в форме: “Вы магазин случайно не на земле нашли?”

Я помолчал секунд пятнадцать, пожевал мысленную травинку. Дошло.

— Да. Проехал донецкую таможню — вижу, на травке валяется. Хотел вам сдать. А вы вон что. Целое расследование затеяли. А я просто побоялся — дети подберут. Хотел, как лучше.

Они:

— Мы так и подумали. Спасибо за бдительность. Давайте оформим изъятие. Сейчас понятых позовём.

Оформили: в магазине было семь патронов.

Я его сдал, всё по закону. Четыре года покупал, а тут сдал, наконец.

Ко мне снова подошёл какой-то неизвестный, без формы, без знаков отличия человек, даже встал как-то, чтоб я его не видел. Я повернулся к нему, он тоже принял в сторону, легчайшим движением, как на крыльях.

— Мы думаем, вам действительно подкинули магазин. Сделали это неглупые люди. У них, видимо, есть свои кадры в подчиняющемся вам батальоне. Уголовная статья начинается с восьми патронов. У вас семь. Вам подали знак, чтоб вы вели себя аккуратней. Я бы на вашем месте выехал из республики. Вы своё дело сделали. Нечем вам тут больше заниматься. Лучше уезжайте.

Я понимающе кивнул, даже не пытаюсь посмотреть на него. Он развернулся и пошёл. Почему-то не в сторону отдельного здания с отдельным помещением, куда меня заводили, — я думал, он оттуда явился, — а в противоположную, на выход из погранзаставы, где вечно торчали жадные ростовские таксисты. Проходившего мимо погранца с сержантскими погонами мягко поймал за рукав:

— Слышь, а это кто?

Он был недоволен моим поведением, но оглянулся в указанную сторону, посмотрел:

— Не знаю. Первый раз вижу.

Мне показалось, что совершенно искренне ответил.

Сел в машину, подумал: догоню — подвезу.

Главное, лицо не перепутать. Вроде брюнет. Вроде худощавый. Рубашка в крапинку, белые пуговички. На ногах... что на ногах? Кеды какие-то, что ли.

Тот пропал, конечно.

И ещё неизвестно, кто кого хотел подвезти — я его или наоборот.

\* \* \*

В Москве зашёл к старику Эду, чтоб посоветоваться о встрече с императором. Старик Эд мог дать дельные советы. А мог не дать. По настроению.

Со стариком Эдом было непросто.

Вождь радикальной лево-правой партии, воспитавшей многих из нас, явившихся потом из северной стороны в донецкую степь, он обладал замечательным и вспылчивым характером.

Кроме прочего, я его любил. Такой уже, застарелой любовью, наподобие явившейся в юности жестокой, но нужной болезни, которая поначалу казалась достоинством, затем тяготила, а потом заставила вырасти в то, чем я стал, мы стали. За свою долгую жизнь он был пять раз женат, всякий раз на ярких женщинах (раньше это было предметом гордости — теперь же любой дебил может пять раз жениться на сногшибательных девках), сидел в тюрьме за попытку создать кусок России на севере Казахстана (в сущности, теперь мы занимались на востоке Украины тем же самым), коротко посещал пять или шесть военных конфликтов — скорее как наблюдатель, но в Сербии повоевал несколько недель в пару заездов (я всю его сербскую

эпосею, чуть, в стиле старика Эда, мифологизированную, неплохо знал, потому что многократно пьянствовал с теми сербами, что были с ним рядом).

Я вообще знал и помнил его жизнь едва ли не лучше, чем он сам: я читал все его книги и помнил его стихи, бессчётное их количество.

С книгами у старика Эда были забавные отношения.

Он ненавидел литературу.

Он хотел быть диктатором, полубогом, но лучше — богом. Он был сумасшедший. Он был гений.

А тут, говорю, литература.

Сочинителей он презирал. Сочинители оскорбляли его уже тем, что у него была общая с ними профессия. Он, что ни говори, тоже писал тексты и получал за это деньги. Это его кормило.

Может, он хотел, чтоб его кормили экспроприации; или отвоёванные в кровавых боях плантации, что-то такое; а тут — тексты. Сочинения.

Трогательно: старик Эд лет тридцать назад перестал писать стихи, а как только старик Эд переставал чем-то заниматься, он тут же подвергал это занятие остракизму.

Лет пятнадцать он издевался над рифмующими идиотами, на всякий вопрос о том, сочиняет ли он ещё, брезгливо кривился и говорил, что такой ерундой нет смысла заниматься серьёзному человеку.

Но природа берёт своё. В тюрьме он снова начал писать стихи, и поэзия была им прощена. Зато после тюрьмы он бросил писать романы и теперь настойчиво повторял, что никакие романы больше не нужны. Потому что зачем ещё нужны романы, если он их бросил писать?

Заодно он считал, что и кино — не меньшая, чем романы, пошлость и глупость. Однако посещал кинотеатры. Я себе воображал иногда, как он там сидит, по-стариковски, с тремя охранниками, с подружкой, и вглядывается в экран, часто хмурясь, но иногда удивляясь, даже прицокивая; дитя, да и только.

Романы были уже не нужны, потому что — это его поляна, он в своё время там гулял, всё пометил и покинул, пусть там трава не растёт; а фильмы — ну, пусть пока будут. Тем более что о нём толкового фильма ещё не сняли. Вот снимут о нём — тогда можно будет и этот жанр похоронить. В романах — слипшиеся комья слов, тут — слипшиеся кадры; тоска.

Более всего старику Эду желалось повелевать дивизиями, двигать армиями, отправлять кого-то на смерть и самому идти вместе со своими солдатами: у него хватало на это бешенства и ярости, он был сильный парень. Сильный старый парень.

В своих книжках старик Эд видел себя сначала молодым лейтенантом; потом — полковником, которому никто не пишет; говорил, что любимый его запах — запах казармы (не помню в его биографии, чтоб он хоть раз ночевал в казарме, но смысл понятен; думаю, запах остался из детства — отец его был военным, значит, пахла его форма, его сапоги, а детская память самая вьедливая).

Если б однажды в его жизни случилось так, что генерал с тонкими пальцами сказал бы при нём: “А вот там станет батальон Эда”, — старик Эд описал бы это в десяти своих лучших стихах.

В Сербии, сражавшейся прекрасной Сербии, он мельком, но по праву дорогого гостя видел нескольких её вождей, нескольких полевых командиров, жал им руки — этого хватило на многие рассказы; в стихах он писал: я знал главных *bad boys* века, а что знали вы, мелкие люди?

Да что там *bad boys*, что там дивизии и полки, что там своя и чужая смерть! В последние годы у старика Эда возникла идея найти Создателя — и съест его, сожрать.

Вот какие у него ставки были. Он бросал вверх камень — и смотрел, ждал.

В ответ всеблагодой, беспощадный Господь вгонял этот негнущийся, ржавый, гордый гвоздь в отведённую ему лунку: нет, старик, ты будешь просто старый русский писатель, да, если угодно — гений, но не больше, чем человек; извини, старик, потому что больше, чем человек, только Я — твой Господь.

А ты — перебесившийся тип, проигравший, что положено проиграть, в рулетку, отсидевший своё, отстрелявший своё, отлюбивший своё и неожиданно ставший в итоге, после всех своих чудачеств, что твой Фёдор Михайлович, законченным консерватором и мракобесом; а если точнее: честным, вдумчивым русским человеком, с национальной, свойственной нашей интеллигенции (старик Эд презирал интеллигенцию) склонностью к поучениям.

Русская классика вселилась в старика, проросла из него, выламывалась с хрустом и скрежетом, прорывалась в его внимательных и злых глазах, в жестах, в стариковской, но подтянутой (он перерос полковника и хотел теперь походить на отставного, седеющего, уставшего генерала) походке, во всём.

Где-то есть такой персонаж: стареющий аристократ, участник крымских событий и одной из турецких кампаний, по юности — картёжник, дуэлянт и бабник, теперь — мудрец и скептик, перессорившийся со всеми соседями; ему подают утром кофей, он разворачивает газеты и, к восторгу трёх-четырёх восторженных гостей и привычной ко всему дворни (“барин дурит-с”), с отменным сарказмом ругается по поводу всего: Голицына, Победоносцева, прежнего императора, нового, шведской кампании, финской войны — это ничего, что они в разные времена случались: все русские вельможи и полководцы — ему современники; всякая война — его.

Комментарии за кофеом, чаще всего, в точку: в этом не откажешь.

На последней странице газеты наш аристократ увидит мельком фамилию иного поэта, кто-то из гостей опрометчиво скажет с придыханием: “Там, кажется, о Пушкине?” — и тут же услышит в ответ: “Пушкин ваш — ничёмный пошляк: в букваре, с картинкой, с расставленными ударениями и по слогам — вот только там его и можно читать”.

Если дети вбегают к барину (живут не с ним) — он их холодно целует и скоро гонит: шумят и пахнут. Про детей у него свои представления; но жена их не разделяет. Пустая дура. За что только любил. Любил ведь...

(Я точно читал эту книжку. Писемский, что ли? Тургенев? Лесков? Ну, не Помяловский же. Точно, Писемский. Надо полистать, вспомнить.)

Между тем, старик Эд по-прежнему управлял, как он это называл, экстремистской организацией — воистину мифической цепкой диковатых подростков, когда-то придумавших в русской политике то, что спустя двадцать лет почти стало (на самом деле — только на словах) повесткой для всего этого, что скрывать, пошлого и подлого, но такого величественного государства.

Партия пережила свои лучшие времена — и теперь старик Эд думал, как бы её перезапустить, оживить, раззадорить.

С тоской я представлял, что однажды к старику просто не явятся его телохранители (один пошёл зуб лечить, другой проспал, третий с бабой укатил в Сочи, четвёртый просто раздумал приходить, а сказать постеснялся), потому что защищать его, кажется, было уже не от кого: ещё вчера ненавидевшая нацболов власть (и подментованные дегенераты с битами) не то, чтоб смотрела в их сторону равнодушно, а не смотрела вообще.

“Старик Эд? А что старик Эд? Да нормальный старик Эд, любопытные статьи пишет”.

Центр Э (по борьбе с экстремистами) вполглаза приглядывал за оставшимися при старике Эде нацболами, зная их поимённо. По совести сказать, теперь хватало с избытком других экстремистов, натуральных головорезов, сторонники же старика Эда в рейтинге государственных ублюдков упали с ведущей позиции далеко за пределы первой дюжины.

Старику Эду более всего пошло бы теперь обратиться в доброго, как Серафим Саровский, дедушку: раскрывать руки, чтоб птицы на них садились, всех жалеть, тихо улыбаться — он ведь иногда улыбался, он умел. Он был, в сущности, по-настоящему добрым человеком.

А он всё не хотел обращаться в дедушку Серафима, он хотел обратиться в Савонаролу: призывать бури и камнепады, и чтоб они случались, а он, стоя посреди площади, воздев руки, кричал что-то, неслышное за грохотом камней и ветра.

А он не был Савонаролой.

В итоге старик Эд давно бы превратился в сварливого старика, ни о чём,

кроме себя самого, думать не умеющего, но Господь всё предусмотрел, Господь не желал испортить такой великолепный образец.

Старик Эд думал о себе только потому, что про старика Эда стоило думать. Он был поразительный, небывалый, невесть откуда явившийся субъект. Он и сам никак не мог взять в толк, откуда он такой взялся, и всё вглядывался, вглядывался, вглядывался в своих наполовину русских, отчасти — хохляцких, отчасти — татарских родителей, пытаюсь разгадать: откуда у них, таких обычных, появился он, такой необычный.

В конце концов, старик Эд сочинил, додумал себе аристократическую генеалогию, и сам в неё уверовал: ну, должно же всё это как-то объясняться, боже мой.

Он же изучил внимательно биографии всех этих великих — старик Эд в каждой третьей своей книге загибал пальцы: Сальвадор Дали — да ладно, жулик; Есенин — бесхитростный, хотя наш, да; Муссолини — ничего так, с характером; но в итоге-то что? Кто собеседники? Кого рядом поставим? Платон, Врубель, Ленин... что-то такое. Хотя и к этим вопросы, и к этим.

Но и в таком подходе не было ничего смешного. Старик Эд действительно был из перечисленного ряда или из любого подобного ряда; можно выстроить, чтоб старик Эд не ругался, такой, к примеру: Мальтус (метко выбран стариком Эдом в качестве ровни за верное опознание причин грядущего Апокалипсиса), Мартин Лютер Кинг (он имел мечту — и старик Эд имел мечту), Иосиф Бродский (после смерти был прощён стариком Эдом за слишком громкую прижизненную славу и признан как равный).

Старика Эда можно было б осудить за самомнение, если б мы нашли, кого поставить с ним вровень.

Он был несказанно свободен. Он был очень последователен. Он обладал дичайшими амбициями. Он никогда не боялся показаться смешным.

У старика Эда был изысканный, безупречный вкус к искусству.

И ещё (Господь и это предусмотрел, подкинул качества для полноты образа): старик Эд любил Россию. (Фраза звучит как песня в стиле шансон, а это, между прочим, крест; его тащить надо).

Когда-то старик Эд обожал своих девок, своих стервозных (специально таких находил и страдал потом с ними) баб, а потом прошло, закончилось; тепло вспоминая их, он, скорей, вспоминал себя; зато Россию — понимал, знал, чувствовал; и через себя, конечно, тоже, но мог и вне себя воспринимать Россию, как едва ли не единственную признаваемую им вечность.

Старик Эд был счастлив тем, что причастен русскому роду, русскому мужику — бешеному и бесшабашному, всепобеждающему.

Невиданный индивидуалист, сумасшедший эгоцентрик, старик Эд носил внутри, в качестве огромного, всё уравнивающего веса чувство нижайшей растворённости в народе.

Он, непрестанно, из строки в строку упивавшийся своей неповторимостью, как никто иной, мог рассмотреть, опознать, выявить главные качества русского человека — широту, терпение, неутомимость.

В этом было отличие старика Эда от десятка-другого-третьего блистательных интеллектуалов, от этих высоколобых позёров, на самом деле, никогда в жизни толком не сталкивавшихся с народом, видевших мужика лишь из окна поезда: "...и ещё, помнишь, катались за городом и, бляха, заблудились, кружили битый час, наконец, случайно выехали к заводу, к проходной, а там стояли эти... в робах. Пришлось у них дорогу спрашивать".

Старик Эд десятилетиями наблюдал наболов — отчаянных парней с городских окраин, — подшитывался от них. Хоронил их одного за другим. Это, знаете ли, наука.

Конечно же, старик Эд выглядел как выродец русского народа, его отмеченное странным сиянием приبلудное дитя — то ли в пруду такое утопить, то ли попу отнести, может, пусть помолится, окрошит чем-нибудь. Но он же был и естественным, кровным сыном русского народа ("...и что характерно — талантливый нееврей", — с удивлением заметил о себе старик Эд ещё в молодости; что скрывать — я думал о себе теми же словами).

Более того: старик Эд был одним из немногих поразительных оправданий нашей мужественной русской расы, не обладающей в должной мере — так повелось, причины забыты, — витаминами благословленного артистизма, аристократизма; зато у старика Эда этих витаминов в крови было столько, что он зачастую пятнами шёл, будто кто-то его горстями перекормил этими таблетками.

(Незримо, конечно, пятнами, а то вдруг непонятно. Всё объяснять надо по два раза, и часто всё равно без толку).

Мы познакомились с ним двадцать два года назад, и никогда не были друзьями — людям с разницей в тридцать три года дружить нет никакой необходимости; кроме того, старик Эд любил мёртвых — это было единственное, что он коллекционировал, — а я был живой и перечил ему по пустякам.

Некоторое время, двадцать два упомянутых года, он прощал меня — за неглупую любовь к нему.

Но более всего он любил вкус трагедии вокруг себя — расставания, обрыва, похорон, реквиема по ушедшим; о живых он всегда говорил неохотно — мёртвых же перебирал, вглядывался в них, прислушивался к их засохшим сердцам, устам.

Подходило время нашего расставания: я уже начинал его раздражать. Я дорос до того состояния, чтоб он мог позволить себе вслух расстаться со мной: сотни других двуногих, изгнанных им из своей жизни, он вообще не замечал.

Предпоследний раз мы виделись в самом начале войны; он тогда извлёк из зелёной папки (старик Эд был аккуратист) иссохший, жёлтый, осыпавшийся на сгибах листок: это была справка о его участии в сербских военных формированиях; показал мне эту реликвию, я подивился, — правда же, реликвия. Взял ведь у кого-то когда-то такую справку. Возил её при себе, хранил. Показывая бумагу, старик Эд выглядел совершенно счастливым. Он был уверен, что я разделю его восхищение по-сыновьи.

В другой раз я заехал, только что принятый советником к Захарченко (это как если бы старик Эд был советником у Милошевича, которого видел один раз, но вспоминал часто). Я хотел посоветоваться о том, что мне делать в Донецкой народной республике, и тоже показал старику Эду — не справку, но удостоверение советника Главы воюющей юной небывалой республики: мне б понравилось, если б и он разделил мою радость, по-отцовски. Тот мельком глянул, скосился на меня мутным глазом старого ворона и ничего не сказал; потом в очередной своей книжке прописал, что Захар, как маленький, гордится нелепыми удостоверениями. В книжке!

Там же оттоптался на Томиче (боевом, между прочим, офицере, заработавшем реальной службой офицерское звание, дважды награждённом) за то, что тот плохо его встретил в Луганской народной республике: старик Эд заезжал туда на день, считал, что достоин встречи с Плотницким, но Плотницкий, большая оловянная голова, едва ли вообще знал, кто такой старик Эд; когда б узнал, опустил бы городские ворота, сверху бы вылез пушкарь с зажжённым фитилём, прокричал бы: “Уходите! Иначе стреляю!”

Сейчас был третий мой визит к старику Эду за четыре года. Я позвонил ему, он напомнил дорогу, назначил время. Покурил у его подъезда, чтоб зайти минута в минуту, — старик Эд любил пунктуальность, — и зашёл минута в минуту.

Старик Эд был в берцах, в пиджаке, в чёрных джинсах; протянул сухую жёсткую тонкую руку.

“Вот сюда вешайте куртку, проходите”, — он был со мной, как и с большинством других людей, подчёркнуто на “вы”.

Я принёс ему пару бутылок дорогого вина, он сказал: “Сейчас не пью, что-то болит в башке, но вы можете выпить, у меня есть открытая бутылка...” — и назвал какую-то марку.

А чего не выпить (помню, лет десять назад катались мы с ним по российской глуши с забытыми мной уже партийными целями, потом бухали, на травке, зажёвывая не очень хорошую водку такой же колбасой, старик Эд — тогда ещё совсем не старик — похвалился: “Захар, я никогда в жизни



не отказывался от алкоголя!” Тогда я не оценил этого — я тоже никогда не отказывался, а пил каждый день, — но мне было тридцать, а ему за шестьдесят; теперь мне было за сорок, а ему за семьдесят, и я уже видеть не мог алкоголь и пил по инерции, словно давно уже утонул, и меня тянуло куда-то по течению).

Мы час, может, полтора обменивались мнениями, ни в чём не сошлись: старик Эд был категорически против любых контактов с властью; я думаю, что именно моих контактов. Предполагаю, что, если б его позвал император, он пошёл бы, конечно, — из любопытства, отчасти из тщеславия (никогда бы в этом не признался, но написал бы потом, что смотрел на этого бледного, моложавого, недостаточно радикального для такой страны, как Россия, человека с позиций вечности; или что-то такое).

Расстались, едва не поругавшись, пару раз он был близок к тому, чтоб меня выставить: “Зачем вы со мной спорите? — искренне удивлялся он. — Если вы этого не понимаете, то я вообще не знаю, о чём с вами разговаривать!”

Я смеялся, заходил с другой стороны, он недовольно слушал, потом вороний зрачок вздрагивал, старик Эд начинал отвечать, — перезапускали разговор по новой, но приезжали в тот же тупик.

Говорить с ним было скорее удовольствие. Никаких советов он мне не дал. Из нашего часового общения я запомнил только одну фразу: старик Эд жёстко сетовал, что власть не легализовала нацболов, поставивших сотни бойцов на Донбасс. Я отвечал, пожимая плечами: “А зачем им? Никакой необходимости для них в этом нет. Лишние проблемы”. Он ответил: “На их месте я вёл бы себя точно так же, — помолчал и добавил: — Но я не на их месте”.

Ещё он отлично рассказывал, когда я курил на балконе, про деревья во дворе, про птиц, которые прилетают на эти деревья, про цветы, которые он поливает и растит, — я же говорю: русский писатель, блистательный русский писатель.

Старик Эд считал, что все они — скучные неповоротливые сундуки с рукописями; но, кажется, я получше него знал биографии русских писателей: он был из этой великолепной породы. Я могу собрать старика Эда из трёх-четырёх русских классиков первого, второго, третьего ряда, но не буду сейчас; потом, растяну удовольствие.

Через полтора часа я уходил мимо этих деревьев, откуда-то зная, что мы никогда больше не увидимся, и не оглядываясь. Рассеянно, лениво думал: “Император уйдёт, явится другой, третий. Но ничего уже не сделает нас (старика Эда, меня, Томича, нацболов) больше... Не принесёт нам счастья. Не вознесёт наверх. Впрочем, это всегда было понятно, но не помешало нам опередить время на пару десятилетий — не помешало, в первую очередь, ему, старику Эду. Мы насытили воздух заразой взрывоопасных идей — его, старика Эда, идей, — и они оживали теперь. Но сами мы были слишком непосредственны, чтоб угодить в эту игру. Эта игра — для упырей. Для упырей и людоедов. А он — не упырь, не людоед; он русский аристократ, когда-то сочинитель историй, теперь — едкий комментатор новостей; уже сидит, наверное, газету листает, смотрит, что там случилось в мире, которым он мог бы так блистательно управлять. Ну, как ему кажется, — блистательно”.

Я сел в маленьком кавказском кафе в пяти минутах ходьбы от дома старика Эда — мне было некуда торопиться. Открыл ноут, чтоб посмотреть почту. Мне пришло письмо от сослуживца по прежней, давней уже кавказской кампании. Тот рассказал, что Костя — наш хохочущий, отличный, мужественный Костя, который не так давно просился ко мне в батальон, а я лениво, свысока отказал ему, — застрелился. Лежал в квартире две недели, пока запах не стал невыносимым; соседи вызвали милицию, те выбили дверь, и вот...

Всё это кажется литературным, ещё так бывает в кино, но это не были не литература и не кино — это был мой товарищ, Господи. В сетевой паутине до сих пор висит его страничка, на страничке его портрет, на портрете он улыбается. В этой чудовищной паутине давно уже организовалось, выросло, расплодилось своё кладбище — оттуда никто не выбывает, на аватарках все по-прежнему веселы, только никто уже не онлайн.

Какие же мы подростки!

Ведь все умрём.

И что останется?

Что старик Эд показывал мне свою сербскую справку, а я ему донецкие корочки, и потом мы вышучивали друг друга? Это?

Беда (или радость? или замысел?) заключалась в том, что мы оба проиграли, чего уж тут.

\* \* \*

Побродил туда-сюда, попинал воздух — и написал в блоге, что временно оставляю Донецкую народную республику, но вернусь при первом же обострении.

Меня несколько не тронула история с подброшенным магазином — да и едва ли это было способно меня напугать. Меня взрывать пытались, про всё остальное умолчу, — какой ещё магазин! Машину просто проверять надо получше, и всё.

Иррационально хотелось шума: проследить какие-то реакции здесь, в моём Отечестве, и там, в республике. Что-то должно было проявиться, если бросить кислоту в жидкость.

Но ничего особенного не проявлялось. Всё то же самое. Даже заскучал.

Так долго мнил себя многолетним сепаратистским батюкою — хоть и мелкой, наверное, свиристелью, которой неведомые кукушки, снимавшиеся на далёкий перелёт, натаскали в гнездо сотню-другую яиц; однажды яйца полопались, и оттуда вылезли небритые птенцы, пахнущие порохом и пергаром, — и ничего, я с ними справлялся.

А нынче что?

Киевская пресса танцевала: сбежал очередной полевой командир и террорист.

Как будто, если сбежал, — они сейчас попрут в наступление.

Как будто дни сепаратистов сочтены, и осталось совсем немного, вот совсем чуть-чуть: р-раз, и парад в Донецке. И можно будет вешать, наконец, тех, кто не успел сбежать.

Я уже сбегал, если верить их новостям, пять раз минимум; ничего нового, я привык.

Было много моих фотографий, я тупо, безо всяких эмоций, бродил по ссылкам, рассматривал себя: это вот на Пантёхе, в окопе, это на Сосновке, там ещё угол “круизёра”, а у Злого почему-то моя кепка в руке, нас за пятнадцать минут до этого обстреляли; а это я на раскладе, стою, слева за плечом — портрет императора (во всех подразделах висит обязательно, все полевые командиры делали это сами, никто не обязывал; необъяснимо — верней, да, объяснимо: рабы, хотят подчиняться диктатору), справа — портрет Захарченко (тоже вешали — не для проформы).

Позвонил Казак: “Батя нахмурился на твоё объявление об отставке. Ты серьёзно? Что ему сказать?”

(Всего лишь нахмурился: значит, сам понимал, что скорость движения к нашим целям сходилась на нет; лучше б он был обескуражен).

Ответил Казаку: “Изучаю реакцию медиа, ставлю эксперименты. На днях объявлю, что пошутил и на самом деле ушёл в отпуск. Так и скажи ему. Я не уволился”.

Действительно, объявил. Киевская пресса поперхнулась, но сделала вид, что не заметила.

Каждый день всё откладывал и откладывал звонок режиссёру — никак не мог придумать таинственного слова, которое хотел бы всерьёз сообщить императору. (Позицию старика Эда учитывать не желал: мне хотелось думать, что я повзрослел). Был уверен: время ещё есть. Неделя туда, неделя сюда. Всё равно я в отпуске.

Как и миллион других людей, однажды днём увидел в обыденных новостях заголовок: “Смертельно ранен Александр Захарченко”.

С ним был Ташкент.

Дело было в кафе “Сепар”.

Тут же позвонил Казаку. Вне связи.

Позвонил Арабу. Он говорит: “Ничего не знаем, говорят: вроде живой”.

Значит, едва случилось, кто-то принял решение — и через личку сообщил по всем подразделениям, что без паники, всё в порядке, доктора залечат.

Потому что донецким надо было дозвониться в Москву, узнать: что теперь делать? А если Киев двинет полки в наступление — тогда как? Стоять насмерть? Мы так и собирались, но кто теперь принимает решения?

Как себя чувствует Ташкент, было непонятно. (Его увезли и спасали. Он был контужен, обожжён, но вскоре встал. Смотрел непонимающими глазами: есть фотография того же вечера, я видел её потом). Но даже когда Араб сказал: “...вроде живой”, я уже точно знал, что мёртвый.

Через пятнадцать минут всё подтвердилось.

Это случилось 31 августа.

Ещё в детстве 31-е казалось мутным днём (ненавидел школу), а стало — совсем пустым, будто высосанным. Ничего не хочется делать теперь в этот день. Только спрятаться, накрыться одеялом и лежать.

Тщета всё.

Так и сделал тогда: выключил телефон и лежал. Без одеяла.

Жена зашла, села рядом, подержала за руку. Долго молчали.

Потом сказала, без жёсткости, очень тихо и даже ласково:

— Больше никогда не поверю ни в одну твою затею. После такого нельзя снова искренно во что-то верить. Такой мужик — большой, здоровый, красивый, сильный. Убили, и всё. Всех там убьют. Вижу вас, как живых мертвецов. Предали его, продали, ты понимаешь? Негодяи, не хочется с ними жить на одной земле. Ненавижу весь этот порядок вещей. Грязь мира. Ненавижу. Мир плебеев торжествует.

Посидела со мной ещё минуту и вышла.

Я снова смотрел на заголовок ненавидящими глазами. Полная, ничтожная беспомощность внутри — больше ничего.

До сих пор нахожу эту формулировку (чтоб грубо не сказать) таинственной: если смертельно, то почему ранен? Он что, как Пушкин, на дуэли получил ранение в живот, которое тогда не лечилось? Почему не “убит”? Те, кто давал первые комментарии, испугались применить слово “убит” по отношению к Захарченко?

Как будто, если ты сказал “убит Захарченко” — это косяк, это залёт, и Батя тебя накажет; встанет и спросит: “Ты чего, охерел совсем? Ты про кого сказал это слово, сука?”

Он умер сразу, мгновенно. Он, наверное, не успел ничего подумать.

Как было: они случайно заехали в кафе “Сепар” — Глава, Ташкент и ещё одна девчонка (руководитель какой-то организации, кажется, “Молодой Донбасс”); вроде бы это она тогда должна была объявить, что меня, посоветовавшись, выдвинули на роль премьера республики).

Потом писали, что в тот день проходили поминки по певцу Иосифу Кобзону, который только что умер. Нет, поминок не было, двигались из точки А в точку Б, и Глава говорит: “А давайте в “Сепар” заедем, кофе выпьем”.

Он часто так спонтанно куда-то заезжал, изводя охрану своими импровизациями.

Ни один президент на свете так не делает, соседнего правителя — Плотницкого — никогда никто ни в каких кафе не видел; моя личка, работавшая у него, призналась однажды: мы за первые три недели работы с тобой пять раз видели Захарченко, он приходил к нам в гости пешком, ты сам ходишь к нему в гости, потом он опять за тобой езжает, он здоровается и общается с нами, но за год работы у Плотницкого, в его личной охране, мы никогда не приближались к нему больше, чем на пятнадцать метров, он ни разу с нами не здоровался (только Графу один раз нацепил на общем награждении какую-то юбилейную медаль, Граф был взбешён такой наградой), он ни с кем не дружил, он жил на небе.

Захарченко жил на земле.

Первым шёл охранник, вторым Захарченко: в своей быстрой, залетающей в любое помещение, несмотря на хромоту, манере.

Кафе “Сепар” было открыто год назад бывшим бойцом из Батиной лички — хорошим, к слову сказать, парнем, я его немного знал.

Батя двинул “тельника” в депутаты — и вскоре у депутата появилась возможность открыть кафе.

Идея кафе, отделанного в ополченской стилистике и названного энергичным сколком со слова “сепаратист”, принадлежала вроде бы самому Захарченко.

“Надо открыть, брат, сепаратистское кафе, так и назвать — “Сепар”; туда все свои начнут заглядывать; потом, когда меня там убьют, а война закончится, и нас признают все — ха! — цивилизованные страны, от туристов отбоя не будет, прибыль считать устанете!” — так прозвучала идея, или как-то иначе?..

В это кафе я заходил раза два-три: ничего так, уютное, и кормили нормально, но оно, на мой вкус, было слишком вылизанным, почти уже гламурным; я бы в кафе с названием “Сепар” хотел видеть больше разгильдяйства, больше умелой, продуманной спонтанности.

Там, впрочем, когда я заходил, играли песни Гребенщикова — мне показалась симпатичной широта ополченцев: ну, катается этот бородатый парень на сторону нашего несчастного неприятеля петь песню про “всё испортили сепаратисты” — что с того? Если б в “Сепаре” звучала его песня “Последний день августа”, было б совсем жутковато, но этой песни я там не слышал...

Кафе получилось небольшим: всего один зал, столиков на десять, может. Защитные сетки висели на окнах, блюда были названы как-то остроумно, на военный манер. Счёт подавали в больших гильзах.

Взрывное устройство установили над входом, под кондиционером; вход был напротив стойки. Якобы кто-то отвлек бармена (тот должен был уйти в подсобку), и тут же всё закрепили, на свою удачу: а вдруг кто-нибудь живой зайдёт, чтоб умереть.

Взрывчатка была начинена железными шариками, очень много этих шариков попало в него, в его голову. Поэтому гроб был закрытым. Когда гроб открывали, для вдовы, я стоял далеко. Сашка Казак был рядом с гробом, но я не спросил у него, как выглядел убитый. Мне неинтересно, я не хочу этого знать. Если вдруг знаете — не надо рассказывать.

За Батей шёл Ташкент, он уже подошёл к дверям, когда раздался взрыв. Ташкент, который весит килограммов сто тридцать, легко сложился вдвое и отлетел на десять метров. Девушку не убило, но тоже отбросило, обожгло, стеклом серьёзно поранило глаза (зрение потом спасли — в Донецке были отличные врачи, а за время войны стали ещё лучше: какие только ранения не приходилось им врачевать!).

Охранник, шедший впереди Захарченко, погиб. Я его тоже знал. Приятный, немногословный, с добрыми глазами молодой мужик.

Всё.

Теперь ненужное.

\* \* \*

Выехал в Донецк на следующий день; не очень торопился — всё уже случилось, точно не опоздаешь.

По дороге позвонил Томич:

— Здесь что-то непонятное творится. Вкратце: меня набрали очень серьёзные люди. Просили передать, чтоб ты не приезжал на похороны. Предупредили по-доброму. Сказали: не доедет даже до кладбища. Ты — не доедешь.

— Ну, ничего, — сказал. — До кладбища доеду.

Исполняющим обязанности Главы республики был назначен (на внутреннем совещании быстро порешали, не спросившись у Москвы) вице-премьер с позывным Трамп.

Одно время мы часто виделись; при встрече обнимались, я бывал приглашён на какие-то его личные праздники. Потом, в последний год, я видел его один или два раза, мельком.

У него были сложные отношения с Ташкентом. Трамп подозревал, что раз Сашка Казак и я заодно, теперь слишком сошлись с Ташкентом, — значит, ему надо держаться в стороне от нас; что-то такое.

Трамп был политик, продуманный, с амбициями.

(Амбиции предполагают вероятность пожирания людей, стоящих на пути).

Помню одну историю, давнюю.

Ещё в самом начале был у Бати, наряду с Ташкентом и Трампом, ближайший помощник (Пушилин всегда был отдельный), чуть ли не в должности второго вице-премьера, я его видел пару раз, показалось, приятный мужик. Что-то у него с Трампом не заладилось — при встречах искрились. Трамп считал, что прав он, и, возможно, Захарченко отчасти разделял его позицию, но сам не вмешивался. В какой-то момент Трамп спрашивает у Захарченко: “Бать, можно, я ему в ногу выстрелю, если это продолжится?” Тот говорит: “А выстрели”.

Следующий скандал — Трамп достаёт пистолет и стреляет своему коллеге в ногу. Такие нравы наблюдались. Мне нравилось.

У Захарченко в кабинете на стенах было штук восемь-девять пулевых отверстий: время от времени, разговаривая с не очень хорошо понимающими речь людьми из числа своих министров и управленцев, Глава аккомпанировал себе подобным образом.

В ноги, правда, не стрелял: не было такой привычки. В ногу — больно, и заживает потом долго.

Чиновник, ругавшийся с Трампом, ушёл на больничный и на рабочее место больше не вернулся.

Трамп обладал хваткой. Но у него не было такого сильного лобби, как у Пушилина. Наверное, Трамп слишком поздно этим озаботился.

Мне потребовался час — дорога позволяла, — чтоб подумать и понять: команду Захарченко из Донецка выбьют.

Я вдруг вспомнил — как до сердца холодным шприцом достали! — позавчера звонил с незнакомого телефона один мой российский товарищ, часто, по всяким разным делам навещавшийся ко мне в Донецк. Рассказал: “Слушай, не знаю, что думать, но, короче, меня вчера выцепили наши спецслужбы, час длился разговор, спрашивали только одно: вы часто бываете в Донецкой республике, как думаете, кто там может претендовать на место Захарченко? Я говорю: нашли у кого спросить, я там гость, мало что знаю. Они в ответ: и всё-таки подумайте”.

Если это не глупое совпадение (что, на самом деле, допустимо) — значит, шла какая-то игра. Принципы этой игры, её контуры, её правила, её смысл я понять не мог — и до сих пор не понимаю.

Что это, необходимость создать определённый смысловой фон, вбросить дезу? (Как тогда, со сливами о скором наступлении, которого не было). Но что это за фон такой — за три дня до убийства? Что это за деза, если всё оборачивается смертью в “Сепаре”?

Позвонил Саша Казак, сказал, что погребение будет уже завтра, в двенадцать, и чтоб я поторопился.

Мчал всю ночь; был на месте в шесть утра. Республику закрыли: выезд из неё был запрещён. Паники боялись? Нет, никакой паники не было. Не хотели выпустить убийц?

За тридцать минут до прибытия дозвонился Араб, сказал, куда свернуть через триста метров после того, как миную таможенню.

Миновал и свернул.

На пустыре меня быстро пересадили в другую — впервые её видел — машину. Потёртая гражданская легковушка без особых примет.

Разместился на задних сиденьях, посередине меж двумя бойцами.

За руль моей сел Граф, справа с ним — Тайсон.

Добрались без происшествий.

Сразу заехал в ту центральную гостиницу: Казак уже сидел на прежнем месте. Он и тогда тут был. Должен был встретиться с Главой через полчаса. До “Сепара” из гостиницы — полторы минуты ходьбы. В ту секунду, когда Казак услышал взрыв, Главы не стало.

Приехал Ташкент — весь обожжённый: лицо, шея. Кисти перебинтованы. Еле идёт. Руки держит так, словно едет на невидимом мотоцикле. Сел (так и держит руль) и начал говорить (наверное, размышлял про это вчера, а потом сегодня с утра):

— Они там в Киеве думают, что убили, и теперь будет им проще. Но могут прийти другие. Жестокие. Не такие, как Батя. Совсем беспощадные.

Ташкент размышлял о правильных вещах. Но только, подумал я, ничего этого не будет. Придут не те, про которых он говорил.

Прощались с Главой в театре. На стене театра висел его огромный чёрно-белый портрет. Он был отличный мужицкий экземпляр. В простой лепке его лица — за счёт упрямых, бешеных глаз и бесподобной улыбки — нарисовалась та мимическая сетка, что позволяла им по-настоящему любоваться.

На площади собралось великое человеческое множество. Кого-то свезли по шахтёрскому гудку и директорскому свистку — тысяч двадцать пять, — хотя и среди них многие наверняка хотели проститься. Но более ста тысяч донецких явились сами. Заранее зная, что ко гробу подойти не смогут.

Местный люд — небывалый.

Это даже в их газетах отражается.

Я донецкие газеты терпеть не мог. Вся их печать в целом — деревянная, медленная, скучная, будто из-под земли разговаривающая.

Потом только понял: за этим стать, крепь.

С той стороны метали фейки, как икру, и вся эта лягушачья парша плавала на поверхности, зайдёшь по колено — потом ноги чешутся, кожа слезает, трёшь её до зуда, на пальцы смотришь: то ли кожу натёр, то ли это мелкие какие-то червяки завелись и передавлены тобой только что — тьфу, мерзость.

А Донбасс — он иной: суровые столбцы текста — прямоходы сочиняли. Никакого жонглёрства: кирпичная кладка.

Человеческий разговор на донецкой улице подслушаешь — ни жалоб, ничего: поджатые губы, взгляд наждачный, что у них на уме — не знаешь: если долго смотреть — начинаешь их побаиваться.

Могут, конечно, кости переметь кому угодно, но в том не было даже привкуса той непрестанной истерики, что прославилась отдельную, весь добрый соседский народ позорящую масть вечно возбуждённых на той стороне из месяца в месяц, без раздумья и отдыха, от падучей переходивших к плясовой. Сегодня был их день — они плясали, рвали гармони, хохотали так, что от перенапряжения начинали блевать, но, наблевавшись вдосталь, снова пели, кривлялись, ходили то на руках, то сразу на четырёх лапах, снимали штаны, и, вывернув шею, — чтоб зрители видели счастливые глаза, — хлопали по собственной заднице, оставляя багровый след пытерни, понемногу от этой игры распалаясь, отбегали за угол, будто бы по нужде, и снова являлись с чуть блудливыми глазами плясать, петь, показывать огромные, влажные, с накипью языки, блеять, стрекотать, завывать, подлаивать.

“Помер! Подох!! Кончился!!!” — ну, не веселье ли...

Я наблюдал донецких в дни, когда на той стороне заваливался в яму очередной стратег в полковничих или генеральских погонах, — при известии об этом местные даже не вздрагивали; никаких плясок не проводилось; убили так убили, чего ж теперь.

...На кладбище поехал заранее.

Вдоль всей немалой дороги на тротуарах толпились люди и всматривались куда-то поверх моей машины, словно траурная процессия будет спускаться с неба или передвигаться на небольшой высоте.

Люди прибывали на кладбище понемногу; скоро догадался, что пустят сюда только избранных, иначе эти горе-горьские сиротные тысячи здесь просто не поместятся.

Подкатила открытая грузовая машина с гробом. Начали выгружать.

В первые ряды не встраивался, шёл поодаль.

Место выбрала вдова: донецкие просторы и медленное, как комок под кадыком, солнце.

Начались речи; тоскливо слушал; первым выступал Трамп, вторым — Пушилин. Казак и Ташкент смолчали; или им не дали сказать, или Ташкент не в силах был говорить, а Казак слова не просил.

С кладбища поехали на поминки — огромный зал, сотня накрытых столов, пиджаки, погоны, снова речи начались, рассказывали больше о себе, чем о нём; я и сам так делаю уже триста страниц, но в тот день пробыл минут пятнадцать и вышел вроде как покурить. Угодил четвёртым в знатную компанию, кто-то из них негромко поделился: "...взяли пока только одного, он сразу сказал: да, я из СБУ, да, Порошенко знал про операцию: без него такие решения не принимаются, но источник, откуда пошёл импульс на ликвидацию, ищите у себя под боком, это многоуровневая разработка, а больше я ничего не знаю, так что режьте поскорей на куски". Услышанного мне было достаточно, и я уехал.

Думал бесполезное: если б я встретился с императором и если б император принял его, они не посмели бы.

Кто они?

Они знают, а нам никто не расскажет про них.

Просыпаются утром, включают свет, надевают халат, ищут босыми ногами тапочки, идут пить свой кофе, свой свежесжатый сок. Тёплые тосты. Несколько ягод. Принимаются за дела. Серьёзные люди, правильный ритм. К сожалению, я никогда не смогу их убить.

И ещё я не рассказал о нём.

Надо, или уже поздно — пора убирать свою домру?

Мой друг меня покинул. Его исхитила смерть.

Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать, как взрослые, которым ничего не интересно, кроме цифр. Конечно, я попытаюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не взыщите.

Вот мы встречаемся.

Здоровались по-донецки: не протянутой, а согнутой в локте, вертикально поднятой рукой; цепким замком сцеплялись ладони; мне нравилось так здороваться.

Не столько даже обнимались, сколько на миг ударялись плечом о плечо.

Помню: никогда никаких малейших запахов от него не было; мужики пахнут то потом, то перегаром, то кобелём, то жратвой какой-то, — ни разу ничего подобного.

Что ещё?

Мчался к месту всякой, после очередной бомбёжки погибели донецких людей. Приезжаем — как чёрный рот ужаса — выдолбленное окно на пятом, на шестом, на седьмом этаже; в эту воронку будто засасывает воздух, если птица близко пролетит — может разом остаться без перьев, облысеть. Под этим окном висит пыль, битое стекло на траве. Соседи у входа в подъезд стоят в халатах, в тапках. Видны голые живые ноги в синих венах. Лифт в муках, изнывая, тащится вверх, как будто не хочет. Батя играет желваками. Из лифта сразу видна открытая дверь, ведущие внутрь следы среди битого кирпичного крошева, извёстки, мела. Там кошмар, тьма: человек, не ходи.

Он шёл — прямо на крик — к матери, у которой одним прилётом убило мужа и дочь; она выла — он говорил, обнимал, гладил. Находил в себе силы: откуда? Находил — на войну, на жену, на девок, на деток, на ярость, на убийство, на жалость, на прощение; он был огромный, как парус, — в него задувал ветер; он был из песни.

На что находят силы убившие его?

Он поднимал людей в атаку на самой кромке передовой: сначала метался по окопу, орал на всех, пугающихся встать, потом сам, первым, вылез; до тех позиций оставалось полсотни метров, добежал, спрыгнул в чужой

окоп, в руке пистолет — щёлк по набегающему, и осечка... тогда ствол застал в глаз человеческий.

...потом, когда всё закончилось, шёл по окопу — и, походя, обтёр ствол о форму чужого убитого, лежащего на бруствере.

Он сам всё это делал.

С этим жил потом. Тащил это всё в себе, на себе, унёс с собою.

Там теперь разбираются, спрашивают: а тот самый пистолет покажи! А ополоумевшей тётке, не рыдавшей уже, а хрипевшей, ты что сказал, какое слово? Откуда ты это слово извлёк, где его прятал? А пленных тогда отпустил — сотню сразу, говорят, — это зачем? Мог бы продать их, обменять или кровь из них выпить, много чего мог, а взял и отпустил, без выкупа, как так?

Или — человековедение: та ещё наука. Рассказывал мне (просто хочу напоследок послушать его голос): "...если за каждую копейку всех душишь, тут будет вокруг меня одно кладбище. Я тебе клянусь. Вот смотри, средняя машина ЖЭКа воровала в месяц около семисот литров соляры. Это делилось на водителей (первая и вторая смена), механика и начальника ЖЭКа. Сейчас воруют по триста литров. Во-первых, потому что мы меньше наливаем им, во-вторых, им всё-таки становится стыдно, а в-третьих, им просто не на чем будет ездить, если столько воровать. Но если я начну выгонять водителей, механиков и начальников ЖЭКа за воровство, тогда у меня город будет грязный. Поэтому я понимаю, что они воруют у меня триста литров солярки в месяц, и на это закрываю глаза. Иногда прихожу и говорю им: "Суки вы! Вчера кушил у вас соляру, — ради прикола своему соседу, он этим занимается, так он сказал — плохая соляра, неочищенная!" Сосед аж побелел. Потом рассказывали: он через лейку с тонким ситом ворованную соляру пропустил, чтобы почистить ее. Не слил обратно, а доочистил... А главврач? Главврач этой больницы на чём живет: он своих поставщиков нашёл и закладывает десять процентов отката себе с закупок продуктов и со всего остального. Так что теперь, врачей арестовывать? Я знаю, что ворует. А он догадывается, что я знаю. Я подкалываю его периодически: тут ущипну, там ущипну, потом смотришь, он в больнице что-то уже сделал. Нельзя же всех увольнять. Главное — знать, где и кто ворует, и понимать: когда за ухо взять, когда носом ткнуть, а когда и промолчать..."

Легко жалеть, когда люди далеко, и ты им ничего плохого сделать не можешь, — а когда близко? когда можешь? более того — хочешь?

Но, помню, когда Саша Казак затеял разговор по последнего российского императора, которого все предали — и по этой причине его отречение можно объяснить, простить, — Глава взъярился: так его предали и он отрёкся?! В Петрограде надо было тридцать человек арестовать, или триста, сто — на подвал, сто — в заложники, троих — расстрелять. Ты император! Кто тебя может предать? Только ты сам можешь предать.

Однажды, уже вечер был, Батя: "А поехали ко мне?" Но сам задумался: куда? Дома жена ждёт, не спит, давай лучше на резиденцию, только там жрать нечего и пить тоже. (Как обычно.) Уселся по машинам — и в продуктовый магазин. Время — около девяти, сейчас магазин закрываться будет. Батя быстро, чуть прихрамывая, заходит, берёт плетёную корзинку и набирает поскорей простой снеди.

У кассы очередь, человек пять. Стал в очереди последним.

Я, с другой стороны, возле кассира, присоедился и разглядывал людей.

Все немножко, но в меру, очень по-доброму улыбались. Одна девушка спросила Главу: "Можно с вами сфотографироваться?" Конечно, можно. "Тогда и я", — сказала её парень. Никто из стоявших в очереди не посчитал необходимым (и правильно сделали) сказать: а вот проходите первым. Все понимали, что по отношению к нему это неуместно. Что он — без позы. Что, была б его воля, он бы каждый день так делал — выходил из дома и был среди людей, потому что он такой же, он человек.

Стоя у кассы, смотрю на него.

Сейчас он будет расплачиваться.



Тут звонили:

— Захар, пойми правильно. На тебя тут гнал в своём блоге один бывший донецкий командир...

— Гнал и гнал, — отвечаю, — ничего страшного, я не велосипед, не сломаюсь, но вообще я не очень в курсе.

— Ты дослушай. Есть информация, что тебя заказали и убьют, а свалят всё на этого командира, — вроде как разборки между своими.

— У меня нет с ним разборок, мне всё равно.

— Но он хочет публично извиниться перед тобой. Поломать им игру. Ты примешь извинения?

(Играет в “круизёре”: “*Many, many, many, many man /Wish death upon me...*”)

— Ну, чего? — спрашивают в трубке.

— Да пусть извинится, — говорю. — Тоже мне. Не те вещи, о которых я готов думать всерьёз. Посреди жизни наступила зима. У неё другие причины.

Вспоминаю часто эту историю: шли отец и сын по зимней реке, лёд треснул, утонули в полынью, отец рванулся раз, лёд крошится, рванулся два, лёд ломается, сын тянет на дно. Теряя сразу ставшие малыыми силы, отец сообразил, что оба — не выплзут, не выплвут, что ещё полминуты, и шансов никаких; ухватил сына за шиворот, и с невозможной силой бросил его.

Бросок загнал отца под льдину — не выбрался. Зато сын оказался за полтора десятка метров от полыньи. Встал, позвал отца, поплакал, поорал, пошёл к берегу — живой. Слёзы намёрзли на лице навсегда. Отец выбросил сына силой своей смерти.

Мой отец умер, когда я был подростком. Я только потом догадался: уставший жить, он мог бы потянуть ещё, но выбросил меня вперёд, вверх, силой своей смерти, потому что иначе я бы ни с чем не справился.

Я рос, как аутист, еле передвигался в пространстве, залипал на мельчайших, не видимых никому, в том числе и мне, деталях бытия, смотрел на них; родные окликали — не откликался; мать была уверена: не жилец.

Спустя тридцать лет я уже командовал отделением на одной войне, а потом батальоном на другой; тётка говорит бесхитростно (я подвозил её, она опаздывала, мы летели по трассе, причём зигзагами): “Знаешь, когда ты был маленький, никто и предположить не мог, что ты сможешь водить машину”.

“Хорошо хоть ложку до рта доносил”, — почему-то не добавила она.

Я могу космолёт водить. На космодром только не пускают. Хотя — я и не просился. Может, там уже ждут, моторы греют.

Но я не про себя.

Всем существом надеялся, что Захарченко, приняв смерть, вырвет, выбросит из-под льда свою республику, свой народ; иначе какой тогда смысл был во всём?

Мы и так потеряли слишком много: время, ритм, удачу.

Я придумал три плана, что надо делать; три подетальных плана предлагал. Первый касался одного города на “Х”, второй — другого города на “Х”, и оба не Хабаровск и не Ханой; третий план охватывал всю Украину сразу. Батя всё выслушал, но принял последний, даже поехал с этим планом к одному поднебесному человеку, — так этому человеку и сказал, по совету Сашки Казака: “Это предложил мой друг Захар”; тот кивнул: “Да, я его знаю”. Договорились, что план запускают.

Но смотрю новости — и не вижу ничего, что успокоило бы меня.

Вижу что-то другое.

После похорон я пробыл в Донецке ещё день.

События неслись, как бешеные, я в них не участвовал. Меня и не звал никто к участию.

Саша Казак, быстро сообразивший, что грядут небывалые перестановки, и его в ходе перестановок могут просто закопать, переехал жить, работать, разгуживать дела ко вдове Захарченко; там его якобы не должны были достать.

Сделал ставку на неё, чтобы она осеяла республику и её строителей, наследников мужа. Вдова оказалась крепкой бабой: на следующий день после похорон в чёрном платке уже была на передовой; сказала бойцам, что с любой бедою могут идти к ней, что она им станет как мать.

(Воображаю себе, как те, чьих имён я не знаю и убить которых не смогу, потешались над этим).

Саша Казак помирил Трампа и Ташкента: всё-таки они были самыми близкими к Главе, всё-таки он сам их выбирал, назначал. Ташците теперь республику вдвоём.

Те выступили вместе.

“Саш, я не буду на всё это смотреть”, — сказал Казаку.

(Не стал ему говорить, что смотреть на это долго всё равно не придётся).

Саша был работяга, но романтик. Он верил в добро.

Добра нет.

Заскрежетали чудовищного веса шестерёнки, привели в движение особые механизмы, — даже не заискрило, когда в один день Трампа и Ташкента обменяли на Дениса Пушилина. Прежнее решение по Трампу признали недействительным, его задвинули, как табурет под стол: стой пока там.

(У Трампа забавная история, почти как моя: два дня возглавлял страну).

Могила Захарченко даже не осела, а в Донецке уже открыли предствительства тех, кого он, возвращаясь из ордынской ставки, из года в год крыл матом: “Почему они навязывают мне этих чертей? Пусть эти черти пропадут пропадом! Не место им здесь”.

Никого ему так и не навязали; пришли сами. Теперь это их место.

Явились на таких скоростях, будто всё у них уже было заготовлено. Словно только и ждали, когда железные шарики закатятся в лузу. (Совпадение. Пусть это будет совпадение. Иначе жить вообще невыносимо.)

Я собрал бойцов, самых близких, сказал простыми словами:

— Будет наступление — вернусь. Но сидеть в окопе, да хоть даже и в “Пушкине”, пока здесь обживаются нелюди, о которых Батя иначе как через мать-перемать не вспоминал, — не смогу. Да они мне и не дадут. (Мука не в том, что они будут надо мной хохотать, — с лица не опадут; мука в том, что они над ним хохочут, а это уже выше моих сил; у меня и так их нет. Об этом не сообщил, оставил при себе.) Никто из бойцов и слова не сказал. Они ж родные, им долго объяснять не надо. А с остальными я не объясняюсь, только с роднёй.

Напоследок заехал в кафе “Сепар”. Оно было обнесено проволочным ограждением, чтоб не подходили. Под слабым сентябрьским солнцем печально стояли несколько бойцов оцепления. Подсыхали принесённые цветы. Буквы названия кафе либо осыпались, либо зависли на чёрных крючьях. Всё вокруг было в стекле и каменной крошке разной величины. Говорят, по улице поначалу каталось много тех самых шариков, никуда не попавших. Я не видел.

Работали, сидя на корточках или на маленьких разложенных стульях, криминалисты, приехавшие, я знал, из огромной всеисильной северной страны. Криминалисты были присланы, как шептали, личным указом императора. Император, шептали, был взбешён событием в кафе “Сепар”. Из предложенных ему вариантов императорской реакции на убийство Захарченко (три листочка, распечатанные на принтере) выбрал самый человечный: самый жёсткий к живым, самый добрый к мёртвому.

Больше ничего не шептали. С тех пор я и не прислушиваюсь к шёпоту.

Шагнул к проволочному ограждению, склонился и поднял осколок стекла. Боец из оцепления вскинул автомат — не то чтоб на меня, а просто, для виду; прикрикнул: “Не трогайте ничего!” — “Опусти автомат, слышь!” — посоветовал Тайсон со свойственной ему убедительностью, и его мгновенно послушались. Боец из оцепления попросил ещё раз, уже по-доброму: “Я просто попросил ничего не трогать”. — “Ты просто стой спокойно, и тебя никто не тронет, — сказал Тайсон, не меняя интонации. — А то крутишь тут стволом. Он у тебя стреляет, ты в курсе?”

Я немножко подержал эту стекляшку в руке и бросил обратно. Она успела поймать на лету солнышко.

Через час у таможенного плагбаума мы без лишних слов простились.

Российскую границу прошёл как по маслу. Не спросили ни про багажник, ни про папюк. Подержали в руках документы, раскрыв страницу даже не там, где фотография, а где написано “паспорт”, и вернули: езжайте, ради бога.

Тронулся, отъехал на три метра, мужчина — обычное русское лицо, прямой взгляд, лёгкая джинсовая куртка, блондин, — догнал быстрым шагом машину; я опустил стекло, он мне на ухо, вплотную придвинувшись, чтоб всё понял: “Вы в чёрном списке у нас. Больше назад не заедете, даже не пытайтесь. Слышите? Вам запрещён въезд в Донецкую народную республику. Прощайте”.

Прощайте.

...подумал напоследок: назначили бы меня тогда, в тот раз, премьером — техническим, забавы и защиты для, — но после взрыва в “Сепаре” я с разлёту стал бы главой Донецкой народной республики — в силу занимаемой должности. Тоже ведь вариант истории — можно его, зажмурившись, обдумать. Развить эту фантазмагорию, домечтать её до многоточия или восклицательного знака. К примеру, поспорить со своей судьбой о том, на сколько дней я пережил бы предыдущего Главу...

У поворота на ростовскую трассу меня тормознули гайцы-сорванцы. Сроду их не опасался. Что-то во мне, видимо, такое было, что меня всегда отпускали, тут же. Но сегодня всё складывалось иначе. Попросили выйти из “круизёра”. Порылись в багажнике. Позвали к себе в машину. Я им показал разные свои, вполне убедительные, красочные удостоверения: до сих пор действовали безотказно — одна ли “корочка”, другая ли, но задевали за живое.

Сегодня звания и должности: майор армии ДНР, замкомбата полка спецназа, советник главы ДНР — вдруг утерjali силу.

— От тебя пахнет, — сказал один лениво, возвращая мне все удостоверения разом, как ненужные (“Ещё газету дал бы мне почитать”).

— Я командира хоронил.

Они даже не знали, что убит Захарченко. Имени его не слышали. Никакой реакции ни на “командира”, ни на “хоронил”. На самом деле я вчера и не пил ничего. Я не пью больше. Я неживой, зачем мне пить. Открывашшь рот — сразу течёт сквозь костяные челюсти прямо на рёбра: выглядит так себе.

Гайцы оставили меня в своей машине, отошли и долго совещались.

Потом вернулись, говорят:

— У вас штрафы неоплаченные.

Я говорю:

— Вряд ли. Но я могу позвонить помощникам, они оплатят за пять минут.

Они (перейдя на “вы” — значит, приблизилась окончательная стадия):

— И от вас пахнет. Надо машину гнать на штрафстоянку. Вы поймите, мы ничего не вымогаем.

— Сколько?

Один из них:

— Отойди на два шага со мной.

(Как школьные хулиганы; ничего не изменилось).

Отошли за какую-то кирпичную, раздолбанную кладку.

— Короче, вот положи под доску. Видишь доску?

— Вижу. Пять положу.

— Пять мало. Десять положи.

Положил десять. Послушный, как пионер. Мог бы записку положить со стихами: “Я не хочу печалить вас ничем”, — но не сделал этого.

На глазах я становился будто бы голый, совсем незащитный. Как я мог управлять сотнями вооружённых людей? Если вывезти на передовую, убьёт рикошетом щёбёнки. Если не убьёт, пойду на кухню, где-то заблеет коза — упаду в обморок и останусь лежать в обмороке, как в бесцветном коконе.

Добрался к родным местам, хожу как потерянный: час, два, три. Вроде начал привыкать.

Звонит Томич:

— У нас беда. Приехали разоружать батальон.

Звонит Сашка Казак:

— Если что, имей в виду, у меня проблемы. За мной явились прямо в дом Захарченко. Не дают даже вещи собрать.

Трамп напоследок пытался подыграть новым хозяевам — отдал приказ арестовать Сашку Казака, с которым четыре года подряд при встрече обнимался.

С Казаком поступили мягче — доставили к границе и вытолкнули в Россию: всё, бывай, больше не приходи.

Ташкента вывезли в тот же день.

И Трампа вывезли следом.

Они все встретились: Трамп, Казак, Ташкент, — уже за пределами Донецкой народной республики, вчерашние её отцы.

Казак — добрая душа — говорит: поехали, может, в Крым, отдохнём?

Трамп: “Да у меня денег нет. Может, занять у кого?”

Через час после звонка Томича я набрал Араба:

— Ну? Новости?

Араб говорит:

— Не могу, нас в гости позвали. Нет сил отказаться.

Разоружали наш батальон так. Вдруг образовались возле “Праги” люди, которые многие месяцы смотрели со стороны, как мы хохочем с Батей, а сами подойти, спросить, что смешного, стеснялись.

Теперь почувствовали силу.

— Сдавайте, — говорят, — оружие. Именем республики.

Им в ответ:

— За время вашего отсутствия в вашем присутствии не нуждались.

Завертелась карусель, кто-то бросил шумовую гранату в окно, примчались министры всех силовых ведомств сразу, Томича и Араба увезли на собеседование. Их не было двое суток. За это время понаехавшие разморозили в нашем батальоне всё, что я три года таскал туда на горбу, — шакалё явилось. Всё, что мне Батя подарил, исчезло. Где искать? Мне мало что жалко, но вы ж у него воруете, а не у меня. Я набрал Пушилина:

— Слушай, со всем уважением. Отпусти моих командиров, пожалуйста. Они-то ни при чём. Они просто воюют.

Пушилин (голос за считанные сутки стал другим, безупречно поставленным, государственным):

— Всё с ними в порядке, слышишь меня? Там идёт совещание. Их отпустят.

Не обманул. Ещё сутки поговорили и отпустили.

К Томичу, правда, приставили неотлучный конвой и три недели смотрели, как он живёт на белом свете. Может, военного переворота опасались? Или что я вернусь и возглавлю сопротивление? Я так и не понял.

У меня много вопросов, и все смешные. Могу их в отдельную тетрадку переписать, пустить, как, помните, в школе заинтересованные девчонки отправляя опросники в плавание по рядам: “Твой любимый урок? Твой любимый артист? Твой любимый цвет? Какая девочка в классе нравится больше всех?” — ради последнего вопроса всё и затевалось; потом ещё какая-то ерунда. Так вот, у меня такой ерунды — на триста страниц, и везде одни вопросительные знаки — похожи на каллик переходящих, идущих в никуда.

Батальон вывели со Стылы и начали разгонять, как и всю армию мёртвого Главы; но Томич зашёл под корпус, и половина нашего батальона — люди, которым ловить на свете больше нечего, кроме ветра степного и осколка шального, — отправились за ним.

У корпуса начальство военное, у военного начальства свои резоны, политики не касающиеся.

Политика — это где деньги лежат.

Батальону всегда выдавали зарплату с задержкой в один месяц: так повелось с первой зимы, пока его собирали, и с тех пор эту дурацкую инерцию так и не переломили. В итоге бойцы не получили за июль, а в последний день августа убили Захарченко, так что за август тоже не получили — зарплата

куда-то делась. Эти деньги были, но их забрали другие люди себе. Ещё месяц все в батальоне ждали решения своей судьбы — служить никто не отказывался. В октябре стало ясно, что батальона в прежнем виде нет, но задолженность образовалась уже за три месяца.

Для ополченцев, которые живут (иные с детьми, жёнами, бабками) на шестнадцать тысяч рублей в месяц, — это потоп: плачущая жена и дети, которым сопли нечем вылечить.

Явились к очередной выдаче долгов военнослужащим, спрашивают: а что с нами? Им в ответ:

— Кто вам платил? Захарченко?

— Да.

— Откопайте, и пусть он вам заплатит.

Это из бывшей лички загубленного Главы сказал один тип, — в своё время он острее всех буровил меня глазками, — а теперь каждые три дня ездил к Главе на могилу и дул там вискарь в одно горло. Жаловался, наверное, что тот его при жизни не оценил в полную меру: общался чёрт знает с кем.

Чех — тот самый, из Чехии, огромного роста боец, — написал мне письмо: “Говорят, ты деньги батальона вывез и потратил на себя?” (Письмо с ошибками, но смысл был понятен). Получив его послание, я налил себе стакан коньяка. Подумал. Выплеснул в раковину.

\* \* \*

Почему не могу заткнуться.

Всё ищу запятую, которую можно поставить, и начать сначала.

Томич роет землю, тащит свой крест, который сам навьючил на себя.

Звоню нашим, интересуюсь новостями.

— Рыбака помнишь, Захар? Серёга, позывной Рыбак? Убили. Шерифа помнишь? Илюха, позывной Шериф? Снайпер — в правое плечо — навьлет. Чирика помнишь? Осколочное в голову, всё тело порешетило, кисть руки раздроблена. Наши его вытаскивали с позиций на плащ-палатке, вчетвером, а по ним, провожая, долбили из пулемёта, а там расстояние полста метров. Вынесли, да. Но в итоге у Чирика раскололся осколок в голове, крупный кусок вытащили, а четыре мелких осколка осталось в мозгу. Ещё в глазах мельчайшие осколки так и плавают, и в печёнке, селезёнке и так далее — с десятком. Слушай дальше. Накануне Крещения по нашим позициям точно в блиндаж прилетело из 120-го миномёта. В блиндаже — Авось и Анапа. Первая мина завалила вход, вторая пробила перекрытие. Первое чудо: на пацанов обрушились верхние нары, их не убило (хотя должно было), а засыпало. Но обстрел-то продолжался, если две мины загнали как в копеечку — точно в блиндаж, значит, и третья туда же должна была прилететь. А выбраться не могут. Анапа, понимая, что — всё, конец, — во весь голос заорал своему любимому святому: “Вытащи нас, я кому сказал!” — и тут же что-то рухнуло на пути, появился просвет, выскочили из блиндажа. Тут же, как и ожидалось, третья мина в блиндаж прилетела. Но оба живы. Так вот живём. Думаем: может, именных святых прикрепить ко всем бойцам. Поможет, нет?

Не помогло. Через неделю мина прилетела в тот же блиндаж. Лесник, Марат, Деляга, Волчонок — насмерть.

Ещё через неделю в бою погибли Диггер, Мост, Жуга.

Кладбище батальона прирастает, святые разлетелись, или все имена перепутали.

Часть батальонных инвалидов — их теперь далеко за двадцать человек — Томич смог перетащить в новый подраздел, а другие — не знаю где. Мать (или бабушка?) одного бойца пишет: мы так верили вам, а он мечтал, хвалился: я буду служить у Захара — и служил, — а теперь лежит с перебитым позвоночником. Мы отдавали вам молодого, прекрасного, здорового парня. Где он?..

Сразу, быстрым движением — откуда что взялось — двинул курсор на крестик в углу: щёлк! — и вроде не было этого письма; приснилось.

Вспомнил, как Захарченко, ночью, — мы куда-то шли посреди темноты, — скривившись, как от досадной боли, говорил: “Захар, я сначала помогал, переписывался, спрашивал, как там дела; первому помогал больше всех, ездил к нему; пятому помогал, десятому, двадцатому. Потом, когда счёт перевалил за сто, за тысячу — перестал об этом думать. Помогаю, но не думаю. Нет такого сердца на земле”.

Через день я включил ноут, нашёл то письмо, быстро набрал текст: “Помню о каждом своём бойце”. (Соврал, у половины не запомнил даже позывных.) “Чем смогу помочь?”

Мать (бабушка?): “Спасибо, что ответили. Сын говорил, что вы хороший”.

Но ещё через час меня забанила. Чтоб никогда больше не отвечал. Даже такой хороший. Чтоб не было ни моего лица, ни имени, ни Донбасса, ничего — потому что вот он, твой Донбасс: парень ходил, бегал, смеялся — теперь лежит, зовёт из другой комнаты: “Мама!” — сам никогда не придёт к маме. А приходил. Он приходил сам.

Ещё много чего могу рассказать, ничего не нужно выдумывать.

Могу говорить так долго, что постареют мои собаки, заснувшие у ног.

Но теперь что-то болезненное, огромное, тяжёлое упало — и лежит посреди сести: не сдвинуть.

Араб уволился, дома сидит. Кубань уволился, в небо глядит. Злой уволился, смеётся, как всегда смеялся в любой ситуации.

У Дока был insult или инфаркт, я проплатил ему операцию. Глюк залетел в казённый дом за драку — я выкупил его. Снова служит.

Тайсон уволился и гуляет по дворику своего детства. Волнуюсь за него.

Граф уволился и развёл хозяйство: быков, птицу, огород. До его посёлка на той стороне по-прежнему пять километров. К матери приезжали из СБУ, вывалили целую кипу его красивых фотографий в форме, говорят: если вернёшься — мы ничего ему не сделаем, передайте ему все гарантии, и работу найдём, и зарплату обеспечим. Вам ничего починить не надо? Асфальт к дому не проложить? Крышу не покрыть? Обращайтесь, пожалуйста.

Шаман уволился, но теперь снова вернулся. Шарится по передку и по чужим тылам, по нему стреляют, — всё это понятно из его писем, хотя об этом он ничего не сообщает. Пусть он живёт: ни пуха, ни пера. Пусть все живут, кто в силах. Чехи не знаю, куда делись, надо у Томича спросить. Домовой — с ним.

И Саран служит в нашем бывшем, распущенном, но вновь действующем батальоне. К ним тут, на — ага! — очередные позиции приползла разведка нашего несчастного неприятеля, готова была уже в окопы запрыгивать, но Саран — он грамотный, он в порядке, сориентировался для драки в упор.

У нас в тот раз все остались целы, а с той стороны не вполне, хотя их тоже жалко — чего они ползают сюда? Может, потеряли чего. Может, я сам потерял...

Перекладывал на своём столе вещи: думаю, должна же остаться какая-то мелочь — её потрясёшь над ухом, скovyрнёшь маленький замочек, и...

Что “и”?

У младшей дочки вдруг вижу телефон. “Откуда у тебя?” — спрашиваю; мы так рано детям ничего подобного не покупаем. Жена: “Это же Захарченко подарил ей, помнишь?”

Вот и всё, что осталось, но и то дочкино. Скоро доломает, будет где-нибудь под диваном пылиться, одна крышка — там, другая — неизвестно где. Ни один огонёк не загорится, никто не наберёт по старой памяти.

Черным-черно.